

ПЕТРОПОЛЬ

выпуск 3



ПЕТРОПОЛЬ—3

Альманах

ЛЕНИНГРАД
1991 г.

Главный редактор **Николай Якимчук**

Редакционно-издательский совет:

*Александр Володин, Юрий Васильев, Яков Гордин, Виктор Липатов,
Валерий Попов, Евгений Рейн, Александр Самарцев,
Владимир Уфлянд, Андрей Битов, Вадим Нечаев (Франция).*

ПЕТРОПОЛЬ. **Альманах** / Сост. Николай Якимчук. — Л.: Союз
ПЗ11 кинематографистов СССР, «Аквилон», 1991.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛИШНЕГО СЫНА

Сергей Довлатов постоянно рассказывал о людях истории, мягко говоря, героев не украшавшие. Позиция, и ангела бы превратившая в мизантропа, если не в циника, загадочным образом составила ему, тем не менее, к концу жизни репутацию едва ли не филантропа. И дело здесь даже не столько в том, что в жизни он был несомненно бессребреником. На мажорный лад настраивают печальные — сплошь — сюжеты его прозы. В них есть какая-то нераскрываемая на словесном уровне тайна. Лежит она, как мне кажется, в области художественной этики автора. То есть в той сфере, где искусство все никак не может совместиться с моралью. А совместившись — гибнет. Секрет довлатовского своеобразия нужно искать в этой пограничной полосе. Обаятельный секрет. Потому что там, где общественная мораль чаще всего видит в человеческом поведении умысел и злую волю, Довлатов-прозаик обнаруживает живительный, раскрывающий и раскрепощающий душу импульс.

Если принять во внимание, что суть всякой органической, не подчиненной идеологии, художественной системы незаметным для самого автора образом антиномична, то антиномиями довлатовской прозы являются понятия «норма» и «абсурд». Иногда прозаик называет мир «абсурдным», но иногда — «нормальным». Это плодотворное противоречие, ловить художника на подобных вещах можно только в спекулятивных целях. По Довлатову жизнь человеческая абсурдна, если мировой порядок — нормален. Но и сам мир абсурден, если подчинен норме, утратил черты естественности.

Наличие ярко выраженных полюсов говорит о крепкой сердцевине. В крайности Сергей Довлатов впадал постоянно, но безусловную содержательность признавал лишь за расхожими прелестями бытия. В сфере творческой деятельности он несомненно стремился взглянуть на прозу нашей жизни так, как если бы она и сама по себе являла образчик искусства прозы.

Эстетика Довлатова обоснована правилом пропорционального распределения вымысла и наблюдения. Проза его есть попытка воплощения недоовоплощенного жизнью. Она счастливо завершилась тем, что характеры персонажей этих историй дают о себе знать с силой и блеском большим, чем это случается в повседневности. Но бытие этих характеров подчинено не воображенной интриге, а сюжету самой жизни.

Довлатов не склонен был заглядывать в романтическую пропасть, отделяющую искусство от жизни. Он направил

свои художественные усилия на поиск золотой между ними середины. И удивительно даже не то, что он ее находил, а то, что в лучших его вещах она и на самом деле оказывалась золотой.

Срединный путь и в народных сказках, и в элитарных шедеврах представляется безнадежным. Довлатов выбрал именно его — самый рискованный и трудный. Полное слияние жизни с искусством прокладывает дорогу лишь в царство мертвых.

По взыскательной скромности, не отличимой у него от чувства собственного достоинства, Сергей Довлатов видел в своих историях лишь рассказы о том, как живут люди. Ни на что иное эти повествования претендовать были не должны, так как их автор не знал, для чего они живут. В этом обстоятельстве Довлатов видел разницу между собой, рассказчиком и классическим типом писателя, осведомленного о высших целях.

Из чего не следует, разумеется, что у Довлатова не было мировоззрения. Отчетливо демократическая ориентация его прозы сомнений не вызывает. Не был он и противником прислонившейся к демократической идее равенства. Хотя и знал, что осуществима она лишь через нищету. Существеннее для него был все же иной аспект: равными должны быть люди разные, а не одинаковые. В этом он видел нравственное обоснование демократии, и это же убеждение диктовало ему выбор героев. Довлатов знал, что похожие друг на друга люди полезны всем, непохожие вызывают вражду. Но соль жизни хранят последние, «лишние».

«Лишние люди» — традиционные герои классической русской литературы — были подвергнуты остракизму и критикой, и общественным мнением. Казалось бы, навсегда. В рассказах Сергея Довлатова «лишний человек» проснулся после столетней летаргии и явил миру свое заспанное, но симпатичное лицо.

Честно говоря, Довлатов и сам был «лишним». Не чудачком, как его герои, нет. Личностью, чуждой здравому смыслу и бранным желанием, его не представишь. Взгляд его нацелен не в эмпирию, а в пьянящий, когда не пьяный, развал нашей дурацкой действительности. Он полагал даже, что чем-то она хороша, эта жизнь, — в ней есть несомненный проблеск страсти, она щедра на легкомысленные сюрпризы, забавные ситуации...

Печально, что этот живейший человек, виртуозный мастер слова оказался при жизни ненужным, лишним в ленинградской культуре. Но — полагал Сергей Довлатов — чем печальней, тем смешнее. Вывода о том, что веселье есть норма жизни из этого обстоятельства не получается. Жизнь, увы, грустна.

Сергей Довлатов

ЛИШНИЙ

*Александру Гроссу, неудержимому
русскому деграданту, лишнему
человеку и возмутителю спокойствия.*

Как обычно, не хватило спиртного, и, как всегда, я предвидел это заранее. А вот с закуской не было проблем. Да и быть не могло. Какие могут быть проблемы, если Севастьянову удавалось разрезать обыкновенное яблоко на шестьдесят четыре дольки?!

Помню, дважды бегали за «Стрелецкой». Затем появились какие-то девушки из балета на льду. Шаблинский все глядел на девиц, повторяя:

— Мы растопим этот лед... Мы растопим этот лед...

Наконец подошла моя очередь бежать за водкой. Шаблинский отправился со мной. Когда мы вернулись, девушек не было.

Шаблинский сказал:

— А бабы-то умнее, чем я думал. Поели, выпили и ретировались.

— Ну и хорошо,— произнес Севастьянов,— давайте я картошки отварю.

— Ты бы еще нам каши предложил! — сказал Шаблинский.

Мы выпили и закурили. Алкоголь действовал неэффективно. Ведь напиться как следует — это тоже искусство...

Девушкам в таких случаях звонить бесполезно. Раз уж пьянка не состоялась, то все. Значит, тебя ждут сплошные унижения. Надо менять обстановку. Обстановка — вот что главное.

Помню, Тофик Алиев рассказывал:

— Дома у меня рояль, альков, серебряные ложки... Картины чуть ли не эпохи Возрождения... И — никакого секса. А в гараже — разный хлам, покрышки старые, брезентовый

чехол... Так я на этом чехле имел половину хореографического училища. Многие буквально уговаривали — пошли в гараж! Там, мол, обстановка соответствующая...

Шаблинский встал и говорит:

— Поехали в Таллинн.

— Поедем,— говорю.

Мне было все равно. Тем более, что девушки исчезли.

Шаблинский работал в газете «Советская Эстония». Гостил в Ленинграде неделю. И теперь возвращался с оказией домой.

Севастьянов вяло предложил не расходиться. Мы попрощались и вышли на улицу. Заглянули в магазин. Бутылки оттягивали наши карманы. Я был в летней рубашке и в кедах. Даже паспорт отсутствовал.

Через десять минут подъехала «Волга». За рулем сидел угрюмый человек, которого Шаблинский называл Гришаня.

Гришаня всю дорогу безмолствовал. Водку пить не стал. Мне даже показалось, что Шаблинский видел его впервые.

Мы быстро проскочили невзрачные северо-западные окраины Ленинграда. Далее следовали однообразные поселки, бедноватая зелень и медленно текущие речки. У переезда Гришаня затормозил, распахнул дверцу и направился в кусты. На ходу он деловито расстегивал ширинку, как человек, пренебрегающий условностями.

— Чего он такой мрачный? — спрашиваю.

Шаблинский ответил:

— Он не мрачный. Он под следствием. Если не ошибаюсь, там фигурирует взятка.

— Он что, кому-то взятку дал?

— Не идеализируй Гришу. Гриша не давал, а брал. Причем в неограниченном количестве. И вот теперь он под следствием. Уже подписку взяли о невыезде.

— Как же он выехал?

— Откуда?

— Из Ленинграда.

— Он дал подписку в Таллинне.

— Как же он выехал из Таллинна?

— Очень просто. Сел в машину и поехал. Грише уже нечего терять. Его скоро арестуют.

— Когда? — задал я лишний вопрос.

— Не раньше, чем мы окажемся в Таллинне...

Тут Гришаня вышел из кустов. На ходу он сосредоточенно застегивал брюки. На крепких запястьях его что-то сверкало.

«Наручники?» — подумал я.

Потом разглядел две пары часов с металлическими браслетами.

Мы поехали дальше.

За Нарвой пейзаж изменился. Природа выглядела теперь менее беспорядочно. Дома — более аккуратно и строго.

Шаблинский выпил и задремал. А я все думал — зачем? Куда и зачем я еду? Что меня ожидает? И до чего же глупо складывается жизнь!..

Наконец мы подъехали к Таллину. Миновали безликие кирпичные пригороды. Затем промелькнула какая-то готика. И вот мы на Ратушной площади.

Звякнула бутылка под сиденьем. Машина затормозила. Шаблинский проснулся.

— Вот мы и дома, — сказал он.

Я выбрался из автомобиля. Мостовая отражала расплывчатые неоновые буквы. Плоские фасады сурово выступали из мрака. Пейзаж напоминал иллюстрации к Андерсену.

Шаблинский протянул мне руку.

— Звони.

Я не понял.

Тогда он сказал:

— Нелька волнуется.

Тут я по-настоящему растерялся. Я даже спросил от безнадёжности:

— Какая Нелька?

— Да жена, — сказал Шаблинский, — забыл? Ты же первый и отключился на свадьбе...

Шаблинский давно уже работал в партийной газете. Положение функционера не слишком его тяготило. В нем даже сохранилось какое-то обаяние.

Вообще я заметил, что человеческое обаяние истребить довольно трудно. Куда труднее, чем разум, принципы или убеждения. Иногда десятилетия партийной работы оказываются бессильны. Честь, бывает, полностью утрачена, но обаяние сохранилось. Я даже знавал, представьте себе, обаятельного начальника тюрьмы в Мордовии...

Короче, Шаблинский был нормальным человеком. Если и делал подлости, то без ненужного рвения. Я с ним почти дружил. И вот теперь:

— Звони, — повторил он...

В Таллинне я бывал и раньше. Но это были служебные командировки. То есть с необходимыми бумагами, деньгами и гостиницей. А главное — с ощущением пошлой, но разумной цели.

А зачем я приехал сейчас? Из редакции меня уволили. Денег в кармане — рублей шестнадцать. Единственный знакомый торопится к жене. Гришаня — и тот накануне ареста.

Тут Шаблинский задумался и говорит:

— Идея. Поезжай к Бушу. Скажи, что ты от меня. Буш тебя охотно приютит.

— Кто такой Буш?

— Буш — это нечто фантастическое. Сам увидишь. Думаю, он тебе понравится. Телефон — четыре, два нуля, одиннадцать.

Мы попрощались. Гришаня сидел в автомобиле. Шаблинский махнул ему рукой и быстро свернул за угол. Так и бросил меня в незнакомом городе. Удивительно, что неделю спустя мы будем работать в одной газете и почти дружить.

Тут медленно опустилось стекло автомобиля и выглянул Гришаня.

— Может, тебе деньги нужны? — спросил он.

Деньги были нужны. Более того — необходимы. И все-таки я ответил:

— Спасибо. Деньги есть.

Впервые я разглядел Гришанино лицо. Он был похож на водолаза. Так же одинок и непроницаем.

Мне захотелось сказать ему что-то приятное. Меня поразило его благородство. Одалживать деньги перед арестом, что может быть изысканнее такого категорического неприятия судьбы?..

— Желаю удачи, — сказал я.

— Чао, — коротко ответил Гришаня.

С работы меня уволили в начале октября. Конкретного повода не было. Меня, как говорится, выгнали «по совокупности». Видимо, я позволял себе много лишнего.

В журналистике каждому разрешается делать что-то одно. В чем-то одном нарушать принципы социалистической морали. То есть одному разрешается пить. Другому — хулиганить. Третьему — рассказывать политические анекдоты. Четвертому — быть евреем. Пятому — беспартийным. Шестому — вести аморальную жизнь. И так далее. Но каждому, повторяю, дозволено что-то одно. Нельзя быть одновременно евреем и пьяницей. Хулиганом и беспартийным...

Я же был пагубно универсален. То есть разрешал себе всего понемногу.

Я выпивал, скандалил, проявлял идеологическую близорукость. Кроме того, не состоял в партии и даже частично был евреем. Наконец, моя семейная жизнь все более запутывалась.

И меня уволили. Вызвали на заседание парткома и сказали:

— Хватит! Не забывайте, что журналистика — передовая линия идеологического фронта. А на фронте главное — дисциплина. Этого-то вам и не хватает. Ясно?

— Более или менее.

— Мы даем вам шанс исправиться. Идите на завод. Проявите себя на тяжелой физической работе. Станьте рабкомом. Отражайте в своих корреспонденциях подлинную жизнь...

Тут я не выдержал.

— Да за подлинную жизнь,— говорю,— вы меня без суда расстреляете!

Участники заседания негодующе переглянулись. Я был уволен «по собственному желанию».

После этого я не служил. Редактировал какие-то генеральские мемуары. Халтурил на радио. Написал брошюру «Коммунисты покорили тундру». Но даже и тут совершил грубую политическую ошибку. Речь в брошюре шла о строительстве Мончегорска. События происходили в начале тридцатых годов. Среди ответственных работников было много евреев. Припоминаю какого-то Шимкуса, Фельдмана, Рапорта. В горкоме ознакомились и сказали:

— Что это за сионистская прокламация?! Что это за мифические евреи в тундре?! Немедленно уничтожить весь тираж!..

Но гонорар я успел получить. Затем писал внутренние рецензии для журналов. Анонимно сотрудничал на телевидении. Короче, превратился в свободного художника. И наконец занесло меня в Таллинн.

Около магазина сувениров я заметил телефонную будку. Припомнил цифры: четыре, два нуля, одиннадцать.

Звоню. Отвечает женский голос:

— Слушаю! — (У нее получилось — «свушаю»). — Свушаю, мивенький!

Я попросил к телефону Эрика Буша. В ответ прозвучало:

— Его нет. Я прямо вовнуюсь. Он дал мне свово не задерживаться. Так что приходите. Мы свавно побовтаем...

Женщина довольно толково продиктовала мне адрес. Объяснила, как ехать.

Миниатюрный эстонский трамвай раскачивался на поворотах. Через двадцать минут я был в Кадриорге. Легко разыскал полуразрушенный бревенчатый дом.

Дверь мне отворила женщина лет пятидесяти, худая, с бледно-голубыми волосами. Кружева ее лилового пеньюара достигали золотых арабских туфель. Лицо было густо напудрено. На щеках горел химический румянец. Женщина напоминала героиню захолустной оперетты.

— Эрик дома,— сказала она,— проходите.

Мы с трудом разминулись в узкой прихожей. Я зашел в комнату и обмер. Такого чудовищного беспорядка мне еще видеть не приходилось.

Обеденный стол был завален грязной посудой. Ключья зеленоватых обоев свисали до полу. На рваном ковре толстым слоем лежали газеты. Сиамская кошка перелетала из одного угла в другой. У двери выстроились пустые бутылки.

С продавленного дивана встал мужчина лет тридцати. У него было смуглое мужественное лицо американского ки-

ногероя. Лацкан добротного заграничного пиджака был украшен гвоздикой. Полуботинки сверкали. На фоне захламленного жилища Эрик Буш выглядел космическим пришельцем.

Мы поздоровались. Я неловко и сбивчиво объяснил ему, в чем дело.

Буш улыбнулся и неожиданно заговорил гладкими певучими стихами:

— Входи, полночный гость! Чулан к твоим услугам. Кофейник на плите. В шкафу голландский сыр. Ты братом станешь мне. Галине станешь другом. Люби ее, как мать. Люби ее, как сын. Пускай кругом бардак...

— Есть свадки бувочки! — вмешалась Галина.

Буш прервал ее мягким, но величественным жестом:

— Пускай кругом бардак — есть худшие напасти! Пусть дует из окна. Пусть грязен наш сортир... Зато — и это факт — тут нет советской власти. Свобода — мой девиз, мой фетиш, мой кумир!

Я держался так, будто все это нормально. Что мне оставалось делать? Уйти из дома в первом часу ночи? Обратиться в «скорую помощь»?

Кроме того, человеческое безумие — это еще не самое ужасное. С годами оно для меня все более приближается к норме. А норма становится чем-то противоестественным.

Нормальный человек бросил меня в полном одиночестве. А ненормальный предлагает кофе, дружбу и чулан...

Я напрягся и выговорил:

— Быть вашим гостем чрезвычайно лестно. От всей души спасибо за приют. Тем более, что, как давно известно, все остальные на меня плюют...

Затем мы пили кофе, ели булку с джемом. Сиамская кошка прыгнула мне на голову. Галина завела пластинку Оффенбаха.

Разошлись мы около двух часов ночи.

* * *

У Буша с Галиной я прожил недели три. С каждым днем они мне все больше нравились. Хотя оба были законными шизофрениками.

Эрик Буш происходил из весьма уважаемой семьи. Его отец был доктором наук и профессором математики в Риге. Мать заведовала сектором в республиканском институте тканей. Годом к семи Буш возненавидел обоих. Каким-то чудом он почти с рождения был антисоветчиком и нонконформистом. Своих родителей называл «выдвиженцы».

Окончив школу, Буш покинул Ригу. Больше года плывал на траулере. Затем какое-то время был пляжным фотогра-

фом. Поступил на заочное отделение Ленинградского института культуры. По окончании его стал журналистом.

Казалось бы, человеку с его мировоззрением такая деятельность противопоказана. Ведь Буш не только критиковал существующие порядки. Буш отрицал саму историческую реальность. В частности — победу над фашистской Германией.

Он твердил, что бесплатной медицины не существует. Делился сомнениями относительно нашего приоритета в космосе. После третьей рюмки Буш выкрикивал:

— Гагарин в космос не летал! И Титов не летал!.. А все советские ракеты — это огромные консервные банки, наполненные глиной...

Казалось бы, такому человеку не место в советской журналистике. Тем не менее Буш выбрал именно это занятие. Решительный нонконформизм уживался в нем с абсолютной беспринципностью. Это бывает.

В творческой манере Буша сказывались уроки немецкого экспрессионизма. Одна из его корреспонденций начиналась так:

«Настал звездный час для крупного рогатого скота. Участники съезда ветеринаров приступили к работе. Пахнущие молоком и навозом ораторы сменяют друг друга...»

Сначала Буш работал в провинциальной газете. Но захолустье быстро ему наскучило. Для небольшого северного городка он был чересчур крупной личностью.

Два года назад Буш переехал в Таллини. Поселился у какой-то стареющей женщины.

В Буше имелось то, что роковым образом действует на стареющих женщин. А именно — бедность, красота, саркастический юмор, но главное — полное отсутствие характера.

За два года Буш обольстил четырех стареющих женщин. Галина Аркадьевна была пятой и самой любимой. Остальные сохранили к Бушу чувство признательности и восхищения.

Злые языки называли Буша альфонсом. Это было несправедливо. В любви к стареющим женщинам он руководствовался мотивами альтруистического порядка. Буш милостиво разрешал им обрушиваться на себя водопады горьких, запоздалых эмоций.

Постепенно о Буше начали складываться легенды. Он беспрерывно попадал в истории.

Однажды Буш поздно ночью шел через Кадриорг. К нему подошли трое. Один из них мрачно выговорил:

— Дай закурить.

Как в этой ситуации поступает нормальный человек? Есть три варианта сравнительно разумного поведения.

Невозмутимо и бесстрашно протянуть хулигану сигареты.

Быстро пройти мимо, а еще лучше — стремительно убежать.

И последнее — нокаутировать того, кто ближе, срочно ретироваться.

Буш избрал самый губительный, самый нестандартный вариант. В ответ на грубое требование Буш изысканно произнес:

— Что значит дай? Разве мы пили с вами на брудершафт?!

Уж лучше бы он заговорил стихами. Его могли бы принять за опасного сумасшедшего. А так Буша до полусмерти избили. Наверное, хулиганов взбесило таинственное слово — «брудершафт».

Теряя сознание, Буш шептал:

— Ликуйте, смерды! Зрю на ваших лицах грубое торжество плоти!..

Неделю он пролежал в больнице. У него были сломаны ребра и вывихнут палец. На лбу появился романтический шрам...

Буш работал в «Советской Эстонии». Года полтора его держали внештатным корреспондентом. Шли разговоры о том, чтобы дать ему постоянное место. Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сторону. Сотрудники прилично к нему относились. Особенно — стареющие женщины. Завидев Буша, они шептались и краснели.

Штатная должность означала многое. Особенно — в республиканской газете. Во-первых, стабильные деньги. Кроме того, множество разнообразных социальных льгот. Наконец, известную степень личной безнаказанности. То есть главное, чем одаривает режим свою номенклатуру.

Буш нетерпеливо ожидал зачисления в штат. Он, повторяю, был двойственной личностью. Мятежность легко уживалась в нем с отсутствием принципов. Буш говорил:

— Чтобы низвергнуть режим, я должен превратиться в один из его столпов. И тогда вся постройка скоро зашатается...

Приближалось 7 ноября. Редактор вызвал Буша и сказал:

— Решено, Эрнст Леопольдович, поручить вам ответственное задание. Берете в секретариате пропуск. Едете в морской торговый порт. Беседуете с несколькими западными капитанами. Выбираете одного, наиболее лояльного к идеям социализма. Задаете ему какие-то вопросы. Добываетесь более или менее подходящих ответов. Короче, берете у него интервью. Желательно, чтобы моряк поздравил нас с шестьдесят третьей годовщиной Октябрьской революции. Это не значит, что он должен выкрикивать политические лозунги. Вовсе

нет. Достаточно сдержанного уважительного поздравления. Это все, что нам требуется. Ясно?

— Ясно, — ответил Буш.

— Причем нужен именно западный моряк. Швед, англичанин, норвежец, типичный представитель капиталистической системы. И тем не менее лояльный к советской власти.

— Найду, — заверил Буш, — такие люди попадаются. Помню, разговорился я в Хабаровске с одним матросом швейцарского королевского флота. Это был наш человек, все Лена цитировал...

Редактор вскинул брови, задумался и укоризненно произнес:

— В Швейцарии, товарищ Буш, нет моря, нет короля, а следовательно, нет и швейцарского королевского флота. Вы что-то путаете.

— Как это нет моря? — удивился Буш. — А что же там есть, по-вашему?!

— Суша, — ответил редактор.

— Вот как, — не сдавался Буш. — Интересно. Очень интересно... Может, и озер там нет? Знаменитых швейцарских озер?!

— Озера есть, — печально согласился редактор, — а швейцарского королевского флота — нет... Можете действовать, — закончил он, — но будьте, пожалуйста, серьезнее. Мы, как известно, думаем о предоставлении вам штатной работы. Это задание — во многом решающее. Желаю удачи...

Таллиннский порт расположен в двадцати минутах езды от центра города.

Буш отправился на заданине в такси. Зашел в редакцию портовой многотиражки. Там как раз отмечали сорокалетие фотографа Левы Баранова. Бушу протянули стакан ликера. Буш охотно выпил и сказал:

— Мне нельзя. Я на заданине.

Он выпил еще немного и стал звонить диспетчеру. Диспетчер рекомендовал Бушу западногерманское торговое судно «Эдельвейс».

Буш выпил еще один стакан и направился к четвертому пирсу.

Капитан встретил Буша на трапе. Это был типичный морской волк, худой, краснолицый, с орлиным профилем. Звали его Пауль Руди.

Диспетчер предупредил капитана о визите советского журналиста. Тот пригласил Буша в каюту.

Они разговорились. Капитан довольно сносно объяснялся по-русски. Коньяк предпочитал — французский.

— Это «Кордон бло», — говорил он, — рекомендую. Двести марок бутылка.

Сознавая, что пьянеет, Буш успел задать вопрос:

— Когда ты отчаливаешь?

— Завтра в одиннадцать тридцать.

Теперь о деле можно было и не заговаривать. Накануне отплытия капитан мог произнести все, что угодно. Кто будет это проверять?

Беседа велась откровенно и просто.

— Ты любишь женщин? — спрашивал капитан.

— Люблю, — говорил Буш, — а ты?

— Еще бы! Только моя Луиза об этом не догадывается. Я люблю женщин, выпивку и деньги. Ты любишь деньги?

— Я забыл, как они выглядят. Это такие разноцветные бумажки?

— Или металлические кружочки.

— Я люблю их больше, чем футбол! И даже больше, чем женщин. Но я люблю их чисто платонически...

Буш пил, и капитан не отставал. В каюте плавал дым американских сигарет. Из невидимой радиоточки долетала гавайская музыка. Разговор становился все более откровенным.

— Если бы ты знал, — говорил журналист, — как мне все опротивело! Надо бежать из этой проклятой страны!

— Я понимаю, — соглашался капитан.

— Ты не можешь этого понять! Для тебя, Пауль, свобода — как воздух! Ты его не замечаешь. Ты им просто дышишь. Понять меня способна только рыба, выброшенная на берег.

— Я понимаю, — говорил капитан, — есть выход. Ты же немец. Ты можешь эмигрировать в свободную Германию.

— Теоретически это возможно. Практически — исключено. Да, мой папаша — обрусевший курляндский немец. Мать — из Польши. Оба в партии с тридцать шестого года. Оба — выдвинутые, слуги режима. Они не подпишут соответствующих бумаг.

— Я понимаю, — твердил капитан, — есть другой выход. Иди в торговый флот, стань матросом. Добейся получения визы. И, оказавшись в западном порту, беги. Проси убежища.

— И это фикция. Я ведь на плохом счету. Мне не откроют визы. Я уже добивался, пробовал... Увы, я обречен на медленную смерть.

— Понимаю... Можно спрятать тебя на «Эдельвейсе». Но это рискованно. Если что, тебя будут судить как предателя...

Капитан рассуждал очень здраво. Слишком здраво. Вообще для иностранца он был на редкость компетентен. У трезвого человека это могло бы вызвать подозрения. Но Буш к этому времени совершенно опьянел. Буш ораторствовал:

— Свободен не тот, кто борется против режима. И не тот, кто побеждает страх. А тот, кто его не ведает. Свобода,

Пауль,— функция организма. Тебе этого не понять! Ведь ты родился свободным, как птица!

— Я понимаю,— отвечал капитан...

Около двенадцати ночи Буш спустился по трапу. Он то и дело замедлял шаги, вскидывая кулак — «рот фронт»! Затем растопыривал пальцы, что означало — «виктори»! Победа!..

Капитан с пониманием глядел ему вслед...

На следующий день Буш появился в редакции. Он был возбужден, но трезв. Его сигареты распространяли благоухание. Авторучка «Паркер» выглядывала из бокового кармана.

Буш отдал статью машинисткам. Называлась она длинно и красиво: «Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба!»

Статья начиналась так:

«Капитана Пауля Руди я застал в машинном отделении. Торговое судно «Эдельвейс» готовится к отплытию. Изношенные механизмы требуют дополнительной проверки.

— Босса интересует только прибыль,— жалуется капитан.— Двадцать раз я советовал ему заменить цилиндры. того и гляди лопнут прямо в открытом море. Сам-то босс путешествует на яхте. А мы тут загораем, как черти в преисподней...»

Конец был такой:

«Капитан вытер мозолистые руки паклей. Борода его лоснилась от мазута. Глиняная трубка оттягивала квадратную челюсть. Он подмигнул мне и сказал:

— Запомни, парень! Свобода — это воздух. Ты дышишь свободой и не замечаешь ее... Советским людям этого не понять. Ведь они родились свободными, как птицы. А меня поймет только рыба, выброшенная на берег... И потому — я вернусь! Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба! Душистого хлеба свободы, равенства и братства!..»

— Неплохо,— сказал редактор,— живо, убедительно. Единственное, что меня смущает... Он действительно говорил нечто подобное?

Буш удивился:

— А что еще он мог сказать?

— Впрочем, да, конечно,— отступил редактор...

Статья была опубликована. На следующий день Буша вызвали к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет пятидесяти. Его лицо выражало полное равнодушие и одновременно крайнюю сосредоточенность.

Редактор как бы отодвинулся в тень. Мужчина же при всей его невыразительности распространился широко и основательно. Он заполнил собой все пространство номенклатурного кабинета. Даже гипсовый бюст Ленина на обтянутом кумачом постаменте уменьшился в размерах.

Мужчина поглядел на Буша и еле слышно выговорил:

— Рассказывайте. :

Буш раздраженно переспросил:

— О чем? Кому? Вообще, простите, с кем имею честь?

Ответ был короткий, словно вычерченный пунктиром:

— О встрече... Мне... Сорокин... Полковник Сорокин...

Назвав свой чин, полковник замолчал, как будто вконец обессилев.

Что-то заставило Буша повиноваться. Буш начал пересказывать статью о капитане Руди.

Полковник слушал невнимательно. Вернее, он почти дремал. Он напоминал профессора, задавшего вопрос ленивому студенту. Вопрос, ответ на который ему заранее известен.

Буш говорил, придерживаясь фактов, изложенных в статье. Закончил речь патетически:

«Где ты, Пауль?! Куда несет тебя ветер дальних странствий? Где ты сейчас, мой иностранный друг?!»

— В тюрьме,— неожиданно ответил полковник.

Он хлопнул газетой по столу, как будто убивая муху, и четко выговорил:

— Пауль Руди находится в тюрьме. Мы арестовали его как изменника родины. Настоящая его фамилия — Рютти. Он — беглый эстонец. В семидесятом года рванул на байдарке через Швецию. Обосновался в Гамбурге. Женится на Луизе Рейшвиц. Четвертый год плавает на судах западногерманского торгового флота. Наконец совершил первый рейс в Эстонию. Мы его давно поджидали...

Полковник повернулся к редактору:

— Оставьте нас вдвоем.

Редактору было неловко, что его выгоняют из собственного кабинета. Он пробормотал:

— Да, я как раз собирался посмотреть иллюстрации.

И вышел.

Полковник обратился к Бушу:

— Что вы на это скажете?

— Я поражен. У меня нет слов!

— Как говорится, неувязка получилась.

Но Буш держался прежней версии:

— Я описал все, как было. О прошлом капитана Руди не догадывался. Воспринял его как прогрессивно мыслящего иностранца.

— Хорошо,— сказал полковник,— допустим. И все-таки случай для вас неприятный. Крайне неприятный. Пятно на вашей журналистской репутации. Я бы даже сказал — идеологический просчет. Потеря бдительности. Надо что-то делать...

— Что именно?

— Есть одна идея. Хотите нам помочь? А мы, соответственно, будем рекомендовать вас на штатную должность.

— В КГБ? — спросил Буш.

— Почему в КГБ? В газету «Советская Эстония». Вы же давно мечтаете о штатной работе. В наших силах ускорить это решение. Сроки зависят от вас.

Буш насторожился. Полковник Сорокин продолжал:

— Вы могли бы дать интересующие нас показания?

— То есть?

— Насчет капитана Руди... Дайте показания, что он хотел вас это самое... Употребить... Ну, в смысле полового извращения...

— Что?! — приподнялся Буш.

— Спокойно!

— Да за кого вы меня принимаете?! Вот уж не думал, что КГБ использует подобные методы!

Глаза полковника сверкнули бритвенными лезвиями. Он побагровел и выпрямился:

— Пожалуйста, без громких слов. Я вам советую подумать. На карту поставлено ваше будущее.

Но тут и Буш расправил плечи. Он медленно вынул пачку американских сигарет. Прикурил от зажигалки «Ронсон». Затем спокойно произнес:

— Ваше предложение аморально. Оно идет вразрез с моими нравственными принципами. Этого мне только не хватало — понравиться гомосексуалисту! Короче, я отказываюсь. Половые извращения — не для меня!.. Хотите, я напишу, что он меня спаивал?.. А впрочем, и это не совсем благородно...

— Ну что ж, — сказал полковник, — мне все ясно. Боюсь, что вы на этом проигрываете.

— Да неужели у КГБ можно выиграть?! — расхохотался Буш.

На этом беседа закончилась. Полковник уехал. Уже в дверях он произнес совершенно неожиданную фразу:

— Вы лучше, чем я думал.

— Полковник, не теряйте стиля! — ответил Буш...

* * *

Его лишили внештатной работы. Может быть, Сорокин этого добился. А скорее всего, редактор проявил усердие. Буш вновь перешел на издивение к стареющим женщинам. Хотя и раньше все шло примерно таким же образом.

Как раз в эти дни Буш познакомился с Галиной. До этого его любила Марианна Викентьевна, крупный торговый работник. Она покупала Бушу сорочки и галстуки. Платила за него в ресторанах. Кормила его вкусной и здоровой пищей. Но карманных денег Бушу не полагалось. Иначе Буш сразу принимался ухаживать за другими женщинами.

Получив очередной редакционный гонорар, Буш исчезал. Домой являлся поздно ночью, благоухая луком и косметикой. Однажды Марианна не выдержала и закричала:

— Где ты бродишь, подлец?! Почему возвращаешься среди ночи?!

Буш виновато ответил:

— Я бы вернулся утром — просто не хватило денег...

Наконец Марианна взбунтовалась. Уехала на курорт с пожилым работником главка. Рядом с ним она казалась молодой и легкомысленной. Оставить Буша в пустой квартире Марианна, естественно, не захотела.

И тут возникла Галина Аркадьевна. Практически из ничего. Может быть, под воздействием закона сохранения материи.

Дело в том, что она не имела гражданского статуса. Галина была вдовой знаменитого эстонского революционера, чуть ли не самого Кингисеппа. И ей за это дали что-то вроде пенсии.

Буш познакомился с ней в романтической обстановке. А именно — на берегу пруда.

В самом центре Кадриорга есть небольшой затененный пруд. Его огораживают широкие липовые аллеи. Ручные белки прыгают в траве.

У берега плавают черные лебеди. Как они сюда попали — неизвестно. Зато всем известно, что эстонцы любят животных. Кто-то построил для лебедей маленькую фанерную будку. Посетители Кадриорга бросают им хлеб...

Майским вечером Буш сидел на траве у пруда. Сигареты у него кончились. Денег не было вторые сутки. Минувшую ночь он провел в заброшенном киоске «Союзпечати». Благо на полу там лежали старые газеты.

Буш жевал сухую горькую травинку. Мысли в его голове проносились отрывистые и беспокойные, как телеграммы:

«...Еда... Сигареты... Жилье... Марианна на курорте... Нет работы. К родителям обращаться стыдно, а главное — бессмысленно...»

Когда и где он ел в последний раз? Припомнились два куска хлеба в закусочной самообслуживания. Затем — кислые яблоки над оградой чужого сада. Найденная у дороги ванильная сушка. Зеленый помидор, обнаруженный в киоске «Союзпечати»...

Лебеди скользили по воде, как два огромных черных букета. Пицца доставалась им без видимых усилий. Каждую секунду резко опускались вниз точеные маленькие головы на изогнутых шеях...

Буш думал о еде. Мысли его становились все короче:

«Лебедь... Птица... Дичь...»

И тут зов предков отозвался в Буше легкой нервической

дрожью. В глазах его загорелись отблески первобытных костров. Он замер, как сеттер на болоте, вырвавшийся из городского плена...

К десяти часам окончательно стемнеет. Изловить самоуверенную птицу будет делом минуты. Ощипанный лебедь может вполне сойти за гуся. А с целым гусем Буш не пропадет. В любой компании будет желанным гостем...

Буш преобразился. В глубине его души звучал охотничий рожок. Он чувствовал, как тверд его небритый подбородок. Донсторическая сила пробудилась в Буше...

И тут произошло чудо. На берегу появилась стареющая женщина. То есть дичь, которую Буш чуял на огромном расстоянии.

Вовек не узнают черные лебеди, кто спас им жизнь!

Женщина была стройна и прекрасна. Над головой ее кружились бабочки. Голубое воздушное платье касалось травы. В руках она держала книгу. Прижимала ее к груди наподобие молитвенника.

Дальнозоркий Буш легко прочитал заглавие: «Ахматова. Стихи».

Он выплюнул травинку и сильным глуховатым баритоном произнес:

Они летят, они еще в дороге,
Слова освобожденья и любви,
А я уже в божественной тревоге,
И холоднее льда уста мои...

Женщина замедлила шаги. Прижала ладони к вискам. Книга, шестая страницами, упала на траву.

Буш продолжал:
А дальше — свет невыносимо щедрый,
Как сладкое, горячее вино...
Уже душистым, раскаленным ветром
Сознание мое опалено...

Женщина молчала. Ее лицо выражало смятение и ужас. (Если ужас может быть пылким и радостным чувством.)

Затем опустив глаза, женщина тихо проговорила:

Но скоро там, где жидкие березы,
Прильнувши к окнам, сухо шелестят,—
Венцом червонным заплетутся розы,
И голоса незримо прозвучат...
(У нее получилось — «говоса»).

Буш поднялся с земли.

— Вы любите Ахматову?

— Я знаю все ее стихи наизусть,— ответила женщина.

— Какое совпадение! Я тоже... А цветы? Вы любите цветы?

— Это моя слабость!.. А птицы? Что вы скажете о птицах?

Буш кинул взгляд на черных лебедей; помедлил и сказал:
Ах, чайка ли за облаком кружится,
Малиновки ли носятся вокруг...
О незнакомка! Я хочу быть птицей,
Чтобы клевать зерно из ваших рук...
— Вы поэт? — спросила женщина.
— Пишу кое-что между строк, — застенчиво ответил Буш...
День остывал. Тени лип становились длиннее. Вода утрачивала блеск. В кустах бродили сумерки.
— Хотите кофе? — предложила женщина. — Мой дом совсем близко.
— Извините, — поинтересовался Буш, — а колбасы у вас нет?
В ответ прозвучало:
— У меня есть все, что нужно одинокому сердцу...

* * *

Три недели я прожил у Буша с Галиной. Это были странные, наполненные безумием дни.

Утро начиналось с тихого взволнованного пения. Галина мальчишеским тенором выводила:

Эх, истомилась, устала я,
Ночью и днем... Только о нем...

Ее возлюбленный откликнулся низким простуженным баритоном:

Эх, утону ль я в Северной Двине,
А, может, сгину как-нибудь иначе...
Страна не зарыдает обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут...

Случалось, что они по утрам танцевали на кухне. При этом каждый напевал что-то свое.

За чаем Галина объявляла:

— Называйте меня сегодня — Верочкой. А с завтрашнего дня — Жар-птицей...

Днем она часто звонила по телефону. Цифры набирала произвольно. Дождавшись ответа, ласково произносила:

— Сегодня вас ожидает приятная неожиданность.

Или:

— Бойтесь дамы с вишенкой на шляпе...

Кроме того, Галина часами дрессировала прозрачного, стремительного меченосца. Шептала ему, склонившись над аквариумом:

— Не капризничай, Джим. Помоши маме ручкой...

И, наконец, Галина прорицала будущее. Мне, например, объявила, разглядывая какие-то цветные бусинки:

— Ты кончишь свои дни где-нибудь в Бразилии.

(Тогда — в семьдесят пятом году — я засмеялся. Но сейчас почти уверен, что так оно и будет.)

* * *

Буш целыми днями разгуливал в зеленом халате, который Галина сшила ему из оконной портьеры. Он готовил речь, которую произнесет, став нобелевским лауреатом. Речь начиналась такими словами:

«Леди и джентельмены! Благодарю за честь. Как говорится — лучше поздно, чем никогда...»

Так мы и жили. Мои шестнадцать рублей быстро кончились. Галининой пенсии хватило дней на восемь. Надо было искать какую-то работу.

Я сказал об этом Бушу. Я не сомневался, что Буш откажется. Но он вдруг согласился и даже просиял.

— Гениально, — сказал он, — это то, что надо! Давно пора окунуться в гущу народной жизни. Прильнуть, что называется, к истокам. Ближе к природе, старик! Ближе к простым человеческим радостям! Ближе к естественным цельным натурам! Долой метафизику и всяческую трансцендентность! Да здравствует молот и наковальня!..

Галина тихо возражала:

— Эринька, ты свабий!

Буш сердито посмотрел на женщину, и она затихла...

Котельная являла собой мрачноватое низкое здание у подножия грандиозной трубы. Около двери возвышалась куча угля. Здесь же валялись лопаты и две опрокинутые тачки.

В помещении мерно гудели три секционных котла. Возле одного из них стоял коренастый юноша. В руке у него была тяжелая сварная шуровка. Над колосниками бился розовый огонь. Юноша морщился и отворачивал лицо.

— Привет! — сказал ему Буш.

— Здорово, — ответил кочегар, — вы новенькие?

— Мы по объявлению.

— Рад познакомиться. Меня зовут Олег.

Мы назвали свои имена.

— Зайдите в диспетчерскую, — сказал Олег, — представьтесь Цурикову.

В маленькой будке с железной дверью шум котлов звучал приглушенно. На выщербленном столе лежали графики и ведомости. Над столом висел дешевый репродуктор. На узком топчане, прикрыв лицо газетой, дремал мужчина в солдатском обмундировании. Газета едва заметно шевелилась. За столом работал человек в жокейской шапочке. Увидев нас, приподнял голову:

— Вы новенькие?

Затем он встал и протянул руку:

— Цуриков, старший диспетчер. Присаживайтесь.

Я заметил, что бывший солдат проснулся. С шуршанием убрал газету.

— Худ, — коротко представился он.

— Люди нужны, — сказал диспетчер. — Работа несложная. А теперь идемте со мной.

Мы спустились по шаткой лесенке. Худ двигался следом. Олег помахал нам рукой как старым знакомым.

Мы остановились возле левого котла, причем так близко, что я ощутил сильный жар.

— Устройство, — сказал Цуриков, — на редкость примитивное. Топка, колосники, поддувало... Температура на выходе должна быть градусов семьдесят. Обратная — сорок пять. В начале смены заготавливаете уголь. Полную тачку загружать не советую — опрокинется... Уходя, надо прочистить колосники, выбрать шлак... Пожалуй, это все... График простой — сутки работаем, трое отдыхаем. Оплата сдельная. Можно легко заработать сотни полторы...

Цуриков подвел нас к ребятам и сказал:

— Надеюсь, вы поладите. Хотя и публика у нас тут довольно своеобразная. Олежка, например, буддист. Последователь школы «дзэн». Ищет успокоения в монастыре собственного духа... Худ — живописец, левое крыло мирового авангарда... Работает в традициях метафизического синтетизма. Рисует преимущественно тару — ящики, банки, чехлы...

— Цикл называется «Мертвые истины», — шепотом пояснил Худ, багровый от смущения.

Цуриков продолжал:

— Ну а я — человек простой. Занимаюсь в свободные дни теорией музыки. Кстати, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттена?

До этого Буш молчал. Но тут его лицо внезапно исказилось. Он коротко и твердо произнес:

— Идем отсюда!

Цуриков и его коллеги растерянно глядели нам вслед.

Мы вышли на улицу. Буш разразился гневным монологом:

— Это не котельная! Это, извини меня, какая-то Сорбонна!.. Я мечтал погрузиться в гущу народной жизни. Okрепнуть морально и физически. Припасть к живительным источникам... А тут?! Какие-то дзэнбуддисты с метафизиками! Какие-то блядские политональные наложения! Короче, поехали домой!..

Что мне оставалось делать?

Галина встретила нас радостными криками:

— Я так плакава, — сказала она, — так плакава. Мне было вас так жавко...

Прошло еще дня три. Галина продала несколько книг

в букинистический магазин. Я обошел все таллинские редакции. Договорился о внештатной работе. Взял интервью у какого-то слесаря. Написал репортаж с промышленной выставки. Попросил у Шаблинского двадцать рублей в счет будущих гонораров. Голодная смерть отодвинулась.

Более того, я даже преуспел. Если в Ленинграде меня считали рядовым журналистом, то здесь я был почти корифеем. Мне поручали все более ответственные задания. Я писал о книжных и театральных новинках, вел еженедельную рубрику «Другое мнение», сочинял фельетоны. А фельетоны, как известно, самый дефицитный жанр в газете. Короче, я довольно быстро пошел в гору.

Меня стали приглашать на редакционные летучки. Еще через месяц — на учрежденческие вечеринки. О моих публикациях заговорили в Эстонском ЦК.

К этому времени я уже давно покинул Буша с Галиной. Редакция дала мне комнату на улице Томпа — льгота для внештатного сотрудника беспрецедентная. Это значило, что мне намерены предоставить вскоре штатную работу. И действительно, через месяц после этого я был зачислен в штат.

Редактор говорил мне:

— У вас потрясающее чувство юмора. Многие ваши афоризмы я помню наизусть. Например, вот это: «Когда храбрый молчит, трусливый помалкивает...». Некоторые ваши фельетоны я пересказываю своей домработнице. Между прочим, она закончила немецкую гимназию.

— А, — говорил я, — теперь мне все понятно. Теперь я знаю, откуда у вас столь безукоризненные манеры.

Редактор не обижался. Он был либерально мыслящим интеллигентом. Вообще обстановка была тогда сравнительно либеральной. В Прибалтике — особенно.

Кроме того, дерзил я продуманно и ловко. Один мой знакомый называл этот стиль — «почтительной фамильярностью».

Зарабатывал я теперь не меньше двухсот пятидесяти рублей. Даже умудрялся платить какие-то алименты.

И друзья у меня появились соответствующие. Это были молодые писатели, художники, ученые, врачи. Полноценные, хорошо зарабатывающие люди. Мы ходили по театрам и ресторанам, ездили на острова. Короче, вели нормальный для творческой интеллигенции образ жизни.

Все эти месяцы я помнил о Буше. Ведь Таллинн город маленький, интимный. Обязательно повстречаешь знакомого хоть раз в неделю.

Буш не завидовал моим успехам. Наоборот он радостно повторял: «Действую, старик! Наши люди должны занимать ключевые посты в государстве!»

Я одалживал Бушу деньги. Раз двадцать платил за него в Монди-баре. То есть вел себя как полагается. А что я мог сделать еще? Не уступать же было ему свою должность!

Честное слово, я не избегал Буша. Просто мы относились теперь к различным социальным группам.

Мало того, я настоял, чтобы Буша снова использовали как внештатного автора. Откровенно говоря, для этого я был вынужден преодолеть значительное сопротивление. История с капитаном Руди все еще не забылась.

Разумеется, Бушу теперь не доверяли материалов с политическим оттенком. Он писал бытовые, спортивные, культурные информации. Каждое его выступление я старался похвалить на летучке. Буш стал чаще появляться в редакционных коридорах.

К этому времени он несколько потускнел. Брюки его слегка лоснились на коленях. Пиджак явно требовал чистки. Однако, стареющие женщины (а их в любой редакции хватает) продолжали, завидев Буша, мучительно краснеть. Значит, его преимущества таились внутри, а не снаружи.

В редакции Буш держался корректно и скромно. С начальством безмолвно раскланивался. С рядовыми журналистами обменивался новостями. Женщинам говорил комплименты.

Помню, в редакции отмечалось шестидесятилетие заведующей машинописным бюро — Лорейды Филипповны Кожич. Буш посвятил ей милое короткое стихотворение:

Вздыхаю я, завидевши Лорейду...

Ах, что бы это значило по Фрейду?!

После этого Лорейда Филипповна неделю ходила сияющая и бледная одновременно...

Есть у номенклатурных работников привлекательное свойство. Они не злопамятны хотя бы потому, что ленивы. Им не хватает сил для мстительного рвения. Для подлинного зла им не хватает чистого энтузиазма. За многие годы благополучия их чувства притупляются до снисходительности. Их мысли так безжизненны, что это временами напоминает доброту.

Редактор «Советской Эстонии» был человеком добродушным. Разумеется, до той минуты, пока не становился жестоким и злым. Пока его не вынуждали к этому соответствующие инструкции. Известно, что порядочный человек тот, кто делает гадости без удовольствия...

Короче, Бушу разрешили печататься. Первое время его заметки редактировались с особой тщательностью. Затем стало ясно, что Буш изменился, повзрослел. Его корреспонденции становились все более объемистыми и значительными по тематике. Три или четыре очерка Буша вызвали неболь-

шую сенсацию. На фоне местных журналистских кадров он заметно выделялся.

В декабре редактор снова заговорил о предоставлении Бушу штатного места. Кроме того, за Буша ратовали все стареющие женщины из месткома. Да и мы с Шаблинским активно его поддерживали. На одной летучке я сказал: «Необходимо полнее использовать Буша. Иначе мы толкнем его на скользкий диссидентский путь...»

Трудоустройство Буша приобрело характер идеологического мероприятия. Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сторону. Судьба его могла решиться в обозримом будущем.

Подошел Новый год. Намечалась традиционная конторская вечеринка. Как это бывает в подобных случаях, заметно активизировались лодыри. Два алкоголика метранпажа побежали за водкой. Толстые девицы из отдела писем готовили бутерброды. Выездные корреспонденты Рушкис и Богданов накрывали столы.

* * *

Работу в этот день закончили пораньше. Внештатных авторов просили не расходиться. Редактор вызвал Буша и сказал:

— Надеюсь, мы увидимся сегодня вечером. Я хочу сообщить вам приятную новость.

Сотрудники бродили по коридорам. Самые нетерпеливые заперлись в отделе быта. Оттуда доносился звон стаканов...

Некоторые ушли домой переодеться. К шести часам вернулись. Буш шеголял в заграничном костюме табачного цвета. Его лакированные туфли сверкали. Сорочка издавала канцелярский шелест.

— Ты прекрасно выглядишь, — сказал я ему.

Буш смущенно улыбнулся:

— Вчера Галина зубы продала. Отнесла ювелиру две платиновые коронки. И купила мне всю эту сбрую. Ну как я могу после этого ее бросить!..

Мы расположились в просторной комнате секретариата. Шли заключительные приготовления. Все громко беседовали, курили, смеялись.

Вообще редакционные пьянки — это торжество демократии. Здесь можно пошутить над главным редактором. Решить вопрос о том, кто самый гениальный журналист эпохи. Выразить кому-то свои претензии. Произнести неумеренные комплименты. Здесь можно услышать, например, такие речи:

— Старик, послушай, ты — гигант! Ты — Паганини фоторепортажа!

— А ты,— доносится в ответ,— Шекспир экономической передовицы!

Здесь же разрешаются текущие амурные конфликты. Плещутся интриги. Тайно выдвигаются кандидаты на Доску почета.

Иначе говоря, каждодневный редакционный бардак здесь становится нормой. Окончательно воцаряется типичная для редакции атмосфера с ее напряженным, лихорадочным бесплодием...

Буш держался на удивление чопорно и строго. Сел в кресло у окна. Взял с полки книгу. Погрузился в чтение. Книга называлась «Трудные случаи орфографии и пунктуации».

Наконец всех пригласили к столу. Редактор дождался полной тишины и сказал:

— Друзья мои! Вот и прошел еще один год, наполненный трудом. Нам есть что вспомнить. Были у нас печали и радости. Были достижения и неудачи. Но в целом, хочу сказать, газета добила серьезных успехов. Все больше мы публикуем серьезных, ярких, и глубоких материалов. Все реже совершаем мы просчеты и ошибки. Убежден, что в наступающем году мы будем работать еще дружнее и сплоченнее... Сегодня мне звонили из Центрального Комитета. Иван Густавович Кэбин шлет вам свои поздравления. Разрешите мне от души к ним присоединиться. С Новым годом, друзья мои!..

После этого было множество тостов. Пили за главного редактора и ответственного секретаря. За скромных тружеников — корректоров и машинисток. За внештатных корреспондентов и активных рабкоров. Кто-то говорил о политической бдительности. Кто-то предлагал создать футбольную команду. Редакционный стукач Игорь Гаспль призывал к чувству локтя. Мишка Шаблинский предложил тост за наших очаровательных женщин...

Комната наполнилась дымом. Все разбрелись с фужерами по углам. Закуски быстро таяли.

Торшина из отдела быта уговаривала всех спеть хором. Фима Быковер раздавал долги. Завхоз Мелешко сокрушался:

— Видимо, я так и не узнаю кто стянул общественный рефлектор!..

Вскоре появилась уборщица Хильда. Надо было освободить помещение.

— Еще минут десять,— сказал редактор и лично протянул Хильде бокал шампанского.

Затем на пороге возникла жена главного редактора — Зоя Семеновна. В руках она несла громадный мельхиоровый поднос. На подносе тонко дребезжали чашечки с кофе.

До этого Буш сидел неподвижно. Фужер он поставил на

крышку радиолы. На коленях его лежал раскрытый справочник.

Потом Буш встал. Широко улыбаясь, приблизился к Зое Семеновне. Внезапно произвел какое-то стремительное футбольное движение. Затем — могучим ударом лакированного ботинка вышиб поднос из рук ошеломленной женщины.

Помещение наполнилось звоном. Ошпаренные сотрудники издавали пронзительные вопли. Люба Торшина, вскрикнув, потеряла сознание...

Четверо внештатников схватили Буша за руки. Буш не сопротивлялся. На лице его застыла счастливая улыбка.

Кто-то уже звонил в милицию. Кто-то — в «скорую помощь».

Через три дня Буша обследовала психиатрическая комиссия. Признала его совершенно вменяемым. В результате его судили за хулиганство. Буш получил два года — условно.

Хорошо еще, что редактор не добивался более сурового наказания. То есть Буш легко отделался. Но о журналистике ему теперь смешно было и думать...

Тут я на месяц потерял Буша из виду. Ездил в Ленинград устраивать семейные дела. Вернувшись — позвонил ему — телефон не работал.

Я не забыл о Буше. Я надеялся увидеть его в центре города. Так и случилось.

Буш стоял около витрины фотоателье, разглядывал каких-то улыбающихся монстров. В руке он держал половинку французской булки. Все говорило о его совершенной праздности.

Я предложил зайти в бар «Кунгла». Это было рядом. Буш сказал:

— Я там должен.

— Много?

— Рублей шесть.

— Вот и хорошо, — говорю, — заодно рассчитаемся.

Мы разделись, поднялись на второй этаж, сели у окна.

Я хотел узнать, что произошло? Ради чего Буш совершил такой дикий поступок? Что это было — нервная вспышка? Помрачение рассудка?

Буш сам заговорил на эту тему:

— Пойми, старик! В редакции — одни шакалы...

Затем он поправился:

— Кроме тебя, Шаблинского и четырех несчастных старух... Короче, там преобладают свиньи. И происходит эта дурацкая вечеринка. И начинают все эти похабные разговоры. А я сижу и жду, когда толстожопый редактор меня облагодетельствует. И возникает эта кривоногая Зойка с подносом. И всем хочется только одного — лягнуть ногой этот блядский поднос. И тут я понял — наступила ответственная минута.

Сейчас решится — кто я? Рыцарь, как считает Галка, или дерьмо, как утверждают все остальные? Тогда я встал и пошел...

Мы просидели в баре около часа. Мне нужно было идти в редакцию. Брать интервью у какого-то прогрессивного француза.

Я спросил:

— Как Галина?

— Ничего, — сказал Буш, — перенесла операцию... У нее что-то женское...

Мы спустились в холл. Инвалид-гардеробщик за деревянным барьером пил чай из термоса. Буш протянул ему алюминиевый номерок.

Гардеробщик внезапно рассердился:

— Это типичное хамство — совать номерок цифрой вниз!..

Буш выслушал его и сказал:

— У каждого свои проблемы...

После того дня мы виделись редко. Я был очень занят в редакции. Да еще готовил к печати сборник рассказов.

Как-то я встретил Буша на ипподроме. У него был вид опустившегося человека. Пришлось одолжить ему немного денег. Буш поблагодарил и сразу же устремился за выпивкой. Я не стал ждать и ушел.

Потом мы раза два сталкивались на улице и в трамвае. Буш опустился до последней степени. Говорить нам было не о чем.

Летом меня послали на болгарский кинофестиваль. Это была моя первая заграничная командировка. То есть знак политического доверия ко мне и явное свидетельство моей лояльности.

Возвратившись, я услышал поразительную историю.

В Таллинне праздновали 7 ноября. Колонны демонстрантов тянулись в центр города. Трибуны для правительства были воздвигнуты у здания Центрального Комитета. Звучала музыка. Над площадью летали воздушные шары. Диктор выкрикивал бесчисленные здравицы и поздравления.

Люди несли транспаранты и портреты вождей. Милиционеры следили за порядком. Настроение у всех было приподнятое. Что ни говори, а все-таки праздник.

Среди демонстрантов находился Буш. Мало того, он нес кусок фанеры с деревянной ручкой. Это напоминало лопату для уборки снега. На фанере зеленой гуашью было размашисто выведено:

«Дадим суровый отпор врагам мирового империализма!»

С этим плакатом Буш шел от Кадриорга до фабрики роялей. И только тут, наконец, милиционеры спохватились. Кто это — «враги мирового империализма»? Кому это — «суровый отпор»?..

Буш не сопротивлялся. Его сунули в закрытую черную машину и доставили на улицу Пагари. Через три минуты Буша допрашивал сам генерал Порк...

Буш отвечал на вопросы спокойно и коротко. Вины своей категорически не признавал. Говорил, что все случившееся — недоразумение, ошибка, допущенная по рассеянности.

Генерал разговаривал с Бушем часа полтора. Временами был корректен, затем неожиданно повышал голос. То называл Буша Эрнстом Леопольдовичем, то кричал ему: «Расстреляю, собака!»

В конце концов Бушу надоело оправдываться. Он попросил карандаш и бумагу. Генерал, облегченно вздохнув, протянул ему авторучку:

— Чистосердечное признание может смягчить вашу участь...

Минуту Буш глядел в окно. Потом улыбнулся и красивым, стелющимся почерком вывел:

«Заявление».

И дальше:

«1. Выражаю чувство глубокой озабоченности судьбами христиан-баптистов Прибалтики и Закавказья!

2. Призываю американскую интеллигенцию чутко реагировать на злоупотребления Кремля в области гражданских свобод!

3. Требую права беспрепятственной эмиграции на мою историческую родину — в Федеративную Республику Германии!

Подпись — Эрнст Буш, узник совести».

Генерал прочитал заявление и опустил его в мусорную корзину. Он решил применить старый, испытанный метод. Просто взял и ушел без единого слова.

Эта мера, как правило, действовала безотказно. Оставшись в пустом кабинете, допрашиваемые страшно нервничали. Неизвестность пугала их больше, чем любые угрозы. Люди начинали анализировать свое поведение. Лихорадочно придумывать спасительные ходы. Путаться в нагромождении бессмысленных уловок. Мучительное ожидание превращало их в дрожащих тварей. Этого-то генерал и добивался.

Он возвратился минут через сорок. То, что он увидел, поразило его. Буш мирно спал, уронив голову на кипу протоколов.

Впоследствии генерал рассказывал:

— Чего только не бывало в моем кабинете! Люди перерезали себе вены. Сжигали в пепельнице записные книжки. Пытались выброситься из окна. Но чтобы уснуть — это впервые!..

Буша увезли в психиатрическую лечебницу. Происшедшее казалось генералу явным симптомом душевной болезни. Возможно, генерал был недалек от истины.

Выпустили Буша только через полгода. К этому времени у меня случились перемены.

Трудно припомнить, с чего это началось. Раза два я сказал что-то лишнее. Поссорился с Гасплем, человеком из органов. Однажды явился пьяный в ЦК. На конференции эстонских писателей возражал самому товарищу Липпо...

Чтобы сделать газетную карьеру, необходимы постоянные возрастающие усилия. Остановиться — значит капитулировать. Видимо, я не рожден был для этого. Затормозил, буксуя, на каком-то уровне, и все...

Вспомнили, что я работаю без таллиннской прописки. Дознались о моем частично еврейском происхождении. Да и контакты с Бушем не укрепляли мою репутацию.

А тут еще начались в Эстонии политические беспорядки. Группа диссидентов обратилась с петицией к Вальдхайму. Потребовали демократизации и самоопределения. Через три дня их меморандум передавало западное радио. Еще через неделю из Москвы последовала директива — усилить воспитательную работу. Это означало — кого-то разжаловать, выгнать, понизить. Все это, разумеется, помимо следствия над авторами меморандума.

Завхоз Мелешко говорил в редакции:

— Могли бы обратиться к собственному начальству! Выдумали еще какого-то Хайма...

Я был подходящим человеком для репрессий. И меня уволили. Одновременно в типографии был уничтожен почти готовый сборник моих рассказов. И все это для того, чтобы рапортовать кремлевским боссам — меры приняты!

Конечно, я был не единственной жертвой. В эти же дни закрыли ипподром — рассадник буржуазных настроений. В буфете Союза журналистов прекратили торговлю спиртными напитками. Пропала ветчина из магазинов. Хотя это уже другая тема...

В общем, с эстонским либерализмом было покончено. Лучшая часть народа — двое молодых ученых — скрылись в подполье...

Меня лишили штатной должности. Рекомендовали уйти «по собственному желанию». Опять советовали превратиться в рабкора. Я отказался.

Пора мне было ехать в Ленинград. Тем более, что семейная жизнь могла наладиться. На расстоянии люди становятся благоразумнее.

Я собирал вещи на улице Томпа. Вдруг зазвонил телефон. Я узнал голос Буша:

— Старик, дождись меня! Я еду! Вернее — иду пешком. Денег — ни копейки. Зато везу тебе ценный подарок...

Я спустился за вином. Минут через сорок появился Буш. Выглядел он лучше, чем полгода назад. Я спросил:

— Как дела?

— Ничего.

Буш рассказал мне, что его держат на учете в психиатрической лечебнице. Да еще регулярно таскают в КГБ.

Затем Буш слегка оживился и понизил голос:

— Вот тебе сувернир на память.

Он расстегнул пиджак. Достал из-за пазухи сложенный вчетверо лист бумаги. Протянул мне его с довольным видом.

— Что это? — спросил я.

— Стенгазета.

— Какая стенгазета?

— Местного отделения КГБ. Видишь название — «Щит и меч». Тут масса интересного. Какого-то старшину ругают за пьянку. Есть статья о фарцовщиках. А вот стихи про хулиганов:

Стиляга угодил бутылкой
В орденосца-старика!
Из седовласого затылка
Кровь хлещет, будто с родника...

— А что, — сказал Буш, — неплохо...

Потом начал рассказывать, как ему удалось завладеть стенгазетой:

— Вызывает меня этот чокнутый Сорокин. Затекает свои идиотские разговоры. Я опровергаю все его доводы цитатами из Маркса. Сорокин уходит. Оставляет меня в своем педерастическом кабинете. Я думаю — что бы такое захватить Сереге на память? Вижу — на шкафу стенгазета. Схватил, засунул под рубаху. Дарю тебе в качестве сувенира...

— Давай, — говорю, — сожжем ее к черту! От греха подальше.

— Давай, — согласился Буш.

Мы разорвали стенгазету на клочки и подожгли ее в унитазе.

Я начинал опаздывать. Вызвал такси. Буш поехал со мной на вокзал.

На перроне он схватил меня за руку:

— Что я могу для тебя сделать? Чем я могу тебе помочь?

— Все нормально, — говорю.

Буш на секунду задумался, принимая какое-то мучительное решение.

— Хочешь,— сказал он,— женись на Галине? Уступаю как другу. Она может рисовать цветы на продажу. А через неделю родятся сиамские котята. Женись, не пожалеешь!

— Я,— говорю,— в общем-то женат.

— Дело твое,— сказал Буш.

Я обнял его и сел в поезд.

Буш стоял на перроне один. Кажется, я не сказал, что он был маленького роста.

Я помахал ему рукой. В ответ Буш поднял кулак — «рот фронт»! Затем растопырил пальцы — «виктори»!

Поезд тронулся...

* * *

Шестой год я живу в Америке. Со мной жена и дочь Катя. Покупая очередные джинсы, Катя минут сорок топчет их ногами. Затем проделывает дырки на коленях...

Недавно в Бруклине меня окликнул человек. Я присмотрелся и узнал Гришаню. Того самого, который вез меня из Ленинграда.

Мы зашли в ближайший ресторан. Гришаня рассказал, что отсидел всего полгода. Затем удалось дать кому-то взятку, и его отпустили.

— Умел брать,— сумей дать,— философски высказался Гришаня.

Я спросил его — как Буш? Он сказал:

— Понятия не имею. Шаблинского назначили ответственным секретарем...

Мы договорились, что созвонимся. Я так и не позвонил. Он тоже...

Месяц назад я прочитал в газетах о капитане Руди. Он пробыл четыре года в Мордовии. Потом за него вступились какие-то организации. Капитана освободили раньше срока. Сейчас он живет в Гамбурге.

О Буше я спрашивал всех, кого только мог. По одним сведениям, Буш находится в тюрьме. По другим — женился на вдове министра рыбного хозяйства. Обе версии правдоподобны. И обе внушают мне горькое чувство.

Где он теперь, диссидент и красавец, шизофреник, поэт и герой, возмутитель спокойствия — Эрнст Леопольдович Буш?

Иосиф Бродский

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАМБУЛ

Веронике Шильц

1.

Принимая во внимание, что всякое наблюдение страдает от личных качеств наблюдателя, то есть что оно зачастую отражает скорее его психическое состояние, нежели состояние созерцаемой им реальности, ко всему нижеследующему следует, я полагаю, отнестись с долей сарказма — если не с полным недоверием. Единственное, что наблюдатель может, тем не менее, заявить в свое оправдание, это что и он, в свою очередь, обладает определенной степенью реальности, уступающей разве что в объеме, но никак не в качестве наблюдаемому им предмету. Подобие объективности, вероятно, достижимо только в случае полного самоотчета, отдаваемого себе наблюдателем в момент наблюдения. Не думаю, что я на это способен; во всяком случае, я к этому не стремился; надеюсь, однако, что все-таки без этого не обошлось.

2.

Мое желание попасть в Стамбул никогда не было желанием подлинным. Не уверен даже, следует ли вообще употреблять здесь это понятие. Впрочем, ни капризом, ни подсознательным стремлением этого тоже не назовешь. Так что оставим «желание» и заметим, что частично оно объясняется обещанием, данным мной себе самому по отъезде из родного города навсегда, объехать обитаемый мир по широте и по долготе (т. е. по Пулковскому меридиану), на которых он расположен. С широтой на сегодняшний день все уже более

или менее в порядке. Что до долготы, тут далеко не все так благополучно. Стамбул же находится всего лишь на пару градусов к Западу от названного меридиана.

3.

Своей надуманностью вышеприведенная причина мало чем отличается от несколько более серьезной, главной, я бы сказал, причины, о которой — чуть ниже, и от ряда совершенно уж легкомысленных и второтретьестепенных, о которых — немедленно (ибо они таковы, что о них — либо сейчас, либо никогда): а) в этом городе в начале века провел как-то два решающих года своей жизни мой любимый поэт, грек Константин Кавафис; б) мне почему-то казалось, что здесь, в домах и в кофейнях, должен был сохраниться исчезающий уже повсюду дух и интерьер; в) я надеялся услышать здесь, на отшибе у истории, тот «заморский скрип турецкого матраца», который, как мне казалось, я расслышал однажды ночью в Крыму; г) услышать обращенное к себе «эфенди»; д) но, боюсь, для перечисления этих вздорных соображений не хватит алфавита (хотя лучше, если именно вздор вас приводит в движение — ибо тогда и разочарование меньше). Поэтому перейдем к обещанной «главной» причине, даже если она и покажется многим заслуживающей, в лучшем случае, «е» или «ж».

4.

«Главная» эта причина представляет собой верх надуманности. Состоит она в том, что несколько лет назад в разговоре с одним моим приятелем, американским византинистом, мне пришло в голову, что крест, привидевшийся Императору Константину во сне, накануне его победы над Максентием, — крест, на котором было начертано «Сим победиши», был крестом не христианским, но градостроительским, т. е. основным элементом всякого римского поселения. Согласно Эвсебию и прочим, вдохновленный видением этим, Константин немедленно снялся с места и отправился на Восток, где, сначала в Трое, а потом, внезапно Трою покинув, в Византии он учредил новую столицу Римской Империи — т. е. Второй Рим. Последствия это перемещение имело столь значительные, что, независимо — прав я был или неправ, мне хотелось взглянуть на это место. В конце концов, я прожил

32 года в Третьем Риме, примерно с год — в Первом. Следовало — для коллекции — добрать Второй.

Но — займемся всем этим по порядку, буде таковой нам по силам.

5.

Я прибыл в этот город и покинул его по воздуху, изолировав его, таким образом, в своем сознании, как некий вирус под микроскопом. Учитывая эпидемический характер, присутствующей всякой культуре, сравнение это не кажется мне безответственным. Составляя эту записку в местечке Сунион, на юго-восточном берегу Аттики, в 60 км от Афин, где я приземлился четыре часа назад, в гостинице «Эгейская», я ощущаю себя разносчиком определенной заразы, несмотря на непрерывную прививку «классической розы», которой я сознательно подвергал себя на протяжении большей части моей жизни. Меня действительно немного лихорадит от увиденного; отсюда — некоторая сбивчивость всего нижеследующего. Думаю, впрочем, что и мой знаменитый тезка ощущал нечто похожее, пытаясь истолковать сны фараона. И одно дело заниматься интерпретацией сакральных знаков по горячим — точней, теплым — следам, другое — полторы тысячи лет спустя.

6.

О снах. Сегодня под утро в стамбульской «Пера Палас» мне тоже привиделось нечто — вполне монструозное. То было помещение где-то на филологическом факультете Ленинградского университета, и я спускался по ступенькам с кем-то, кто казался мне Д. Е. Максимовым, но внешне походил более на Ли Марвина. Не помню, о чем шел разговор — но и не в нем дело. Меня привлекла бешеная активность где-то в темно-буром углу лестничной площадки — с весьма низким при этом потолком: я различил трех кошек, дравшихся с огромной — превосходившей их размеры — крысой. Глянув через плечо, я увидел одну из кошек, задранную этой крысой и бившуюся и трепыхавшуюся в предсмертной агонии на полу. Я не стал досматривать, чем сражение кончится — помню только, что кошка затихла, — и, обменявшись каким-то замечанием с Максимовым-Марвином, продолжал спускаться по лестнице. Еще не достигнув вестибюля, я проснулся.

Начать с того, что я обожаю кошек. Добавить к этому, что не выношу низкие потолки. Что помещение только каза-

лось филологическим факультетом — где и всего-то два этажа. Что серо-бурый, грязноватый его цвет был цветом фасадов и интерьера почти всего и, в частности, нескольких контор Стамбула, где я побывал за последние три дня. Что улицы в этом городе кривы, грязны, мощены булыжником и завалены отбросами, в которых постоянно роются голодные местные кошки. Что город этот — все в нем — очень сильно отдает Астраханью и Самаркандом. Что накануне решил уехать — но об этом позже. В общем, достаточно, чтоб засорить подсознание.

7.

Константин был прежде всего римским императором, главой Западной Римской Империи, и «Сим победиши» — начало для него прежде всего распространение его власти, его — личного — контроля над *всей* Империей. В гадании по внутренностям петуха накануне решительного сражения или в утверждениях о небесном содействии при успешном его исходе нет, разумеется, ничего нового. Да и расстояние между беспредельной амбицией и неистовой набожностью тоже, как правило, не слишком велико. Но даже если он и был истинно и истово верующим (а насчет этого имеются разнообразные сомнения — особенно если учесть, как он обращался со своими детьми и родственниками), «победиши» должно было для него быть равнозначным завоеваниям, т. е. именно поселениям, селтльментам. План же любого римского селтльмента именно крест: центральная магистраль, идущая с севера на юг (как Корсо в Риме), пересекается такой же магистралью, идущей с Запада на Восток. От Лептис Магны до Кастрикума, таким образом гражданин Империи всегда знал, где он находится по отношению к метрополии.

Даже если крест, о котором он толковал Эвсебию, был крестом Спасителя, составной частью его во сне — без- или подсознательной — являлся принцип селтльментовой планировки. К тому же, в IV веке крест вовсе не был еще символом Спасителя: им была рыба, греческая анаграмма имени Христа. Да и самый крест распятия скорей напоминал собою русское (да и латинское заглавное) Т, нежели то, что изобразил Микеланджело, или то, что представляем себе сегодня мы. Что бы там Константин не имел в виду, осуществление инструкций, полученных им во сне, принял прежде всего характер территориального расширения Империи на восток, и возникновение Второго Рима было совершенно логическим этого расширения последствием. Будучи, судя по всему, натурой деятельной, Константин рассматривал политику экспансии как нечто абсолютно естественное. Тем более,

если он действительно был истинно-верующим христианином.

Был он им или не был? Вне зависимости от правильного ответа, последнее слово принадлежит всегда генотипу: племянником Константина оказался не кто иной, как Юлиан Отступник.

8.

Всякое перемещение по плоскости, не продиктованное физической необходимостью, есть пространственная форма самоутверждения, будь то строительство империи или туризм. В этом смысле мое появление в Стамбуле мало чем отличается от константиновского. Особенно — если он действительно стал христианином: т. е. перестал быть римлянином. У меня, однако, больше оснований упрекать себя за поверхностность, да и результаты моих перемещений по плоскости куда менее значительны. Я не оставляю по себе даже фотографий «на фоне», не только что — стен. В этом смысле я уступаю только японцам. (Нет ничего кошмарнее мысли о семейном фотоальбоме среднего японца: улыбающиеся коротконогие он и она на фоне всего, что в этом мире есть вертикального: статуи—фонтана—мечети—собора—башни— фасада— античного храма и т. п.; меньше всего там, наверное, будд и пагод.) Когито эрго сум уступает «фотография эрго сум»: так же, как «когито» в свое время восторжествовало над «созидаю». Иными словами, эфемерность моего присутствия — и моих мотивов — ничуть не менее абсолютна, чем физическая ошутимость деятельности Константина и приписываемых (или подлинных) ему соображений.

9.

Римские элегии конца I века до н. э., особенно Проперций и Овидий, открыто издеваются над своим великим современником Вергилием и его «Энеидой». Это можно, конечно, объяснить духом личного соперничества, завистью к успеху, противопоставлением понимания поэзии как искусства личного, частного, пониманию ее как искусства государственного, как формы государственной пропаганды. Последнее ближе к истине, но далеко не истина, ибо Вергилий был не только автором «Энеиды», но также и «Буколик», и «Георгик».

Истина, вероятно, в сумме перечисленных соображений, к числу которых следует прежде всего добавить соображе-

ния чисто стилистические. Вполне возможно, что, с точки зрения элегиков, эпос — любой, в том числе и Virgilius, — представлялся явлением ретроградным. Все они, т. е. элегики, были последователями александрийской школы в поэзии, давшей традицию короткого лирического стихотворения в том объеме, в котором мы знаем поэзию сегодня. Александрийцы, говоря короче, создали жанры, которыми поэзия пользуется по сей день.

Предпочтение, оказываемое александрийской традицией краткости, сжатости, частности, конкретности, учености, дидактичности и тому подобным вещам было, судя по всему, реакцией греческой изящной словесности на избыточные формы греческой литературы архаического периода — на эпос, драму, мифологизацию, — если не просто на мифотворчество. Реакцией, если вдуматься — но лучше не надо, — на Аристотеля. Александрийская традиция вобрала в себя все эти вещи и сильно их ужала до размеров элегии или эклоги, до иероглифичности диалога в последней, до иллюстративной (экземпля) функции мифа в первой. Т. е. речь идет об известной тенденции к миниатюризации — конденсации (хотя бы как средству выживания поэзии во все менее уделяющем ей внимание мире, если не как средству более непосредственного, немедленного влияния на души и умы читателей и слушателей), — как вдруг, изволите ли видеть, является Virgilius со своим гигантским социальным заказом и его гекзаметрами.

Я бы еще добавил здесь, что элегики — почти все без исключения — пользовались главным образом элегическим дистихом и что опять же почти все без исключения пришли в поэзию из риторических школ, готовивших их к юридической (адвокатской, т. е. аргументирующей — в современном понимании этого дела) профессии. Ничто лучше не соответствует риторической системе мышления, чем элегический дистих с его гекзаметрической тезой и ямбической антитезой. Элегическое двустушие, говоря короче, давало возможность выразить как минимум две точки зрения, не говоря уже о всей палитре интонационной окраски, обеспечиваемой медлительностью гекзаметра и функциональностью пятистопного ямба с его дактилической — т. е. отчасти рыдающей, отчасти самоустраняющейся второй половиной.

Но все это — в скобках. За скобками же — упреки элегиков Virgilius не метрического, но этического характера. Особенно интересен в этом смысле ничуть не уступающий автору «Энеиды» в изобразительных средствах и психологически куда более изощренный — нет! одаренный! — Овидий. В одной из своих «Героид» — сборнике вымышленных посланий героинь любовной поэзии к их погибшим или к покинувшим их возлюбленным — в «Дидона—Энею» — карфагенская царица упрекает оставившего ее Энея примерно следующим об-

разом. «Я бы еще поняла,— говорит она,— если бы ты меня покинул, потому что решил вернуться домой, к своим. Но ты же отправляешься невесть куда, к новой цели, к новому, еще не существующему городу. Чтобы, видимо, разбить еще одно сердце»,— и т. д. Она даже намекает, что Эней оставляет ее беременной — и что одна из причин самоубийства, на которое она решается,— боязнь позора. Но это уже не относится к делу.

К делу относится следующее: в глазах Вергилия, Эней — герой, ведомый богами. В глазах Овидия, Эней — по существу беспринципный прохвост, объясняющий свое поведение — движение по плоскости — божественным промыслом. (На этот счет тоже у Дидоны имеются конкретные телеологические соображения, но опять-таки не в них дело — как и не в предполагаемой нами чрезвычайно охотно антигражданственности Овидия.)

10.

Александрийская традиция была традицией греческой: традицией порядка (космоса), пропорциональности, гармонии, тавтологии причины и следствия (Эдиповский цикл): традицией симметрии и замкнутого круга. Элегиков в Вергилии выводит из себя именно концепция линейного движения, линейного представления о существовании. Греков особенно идеализировать не стоит, но в наличии принципа космоса — от небесных светил до кухонной утвари — им не откажешь.

Вергилий, судя по всему, был первым, в литературе по крайней мере, предложившим принцип линейности. Возможно, это носилось в воздухе; скорее всего, это было продиктовано расширением империи, достигшей масштабов, при которых человеческое перемещение и впрямь становилось безвозвратным. Потому-то «Энеида» и не закончена: она просто не должна — точнее, не могла — быть закончена. И дело вовсе не в «женственности», присущей культуре эллинизма, как и не в «мужескости» культуры Римской — и даже не в мужеложестве самого Вергилия. Дело в том, что принцип линейности, отдавая себе отчет в ощущении известной безответственности по отношению к прошлому, стремится уравнивать ощущение это детальной разработкой будущего. Результатом являются либо «пророчество задним числом» а ля разговоры Анхиса у Вергилия, либо социальный утопизм — либо: идея вечной жизни, т. е. Христианство.

Одно не слишком отличается от другого и третьего. Во всяком случае, именно в связи с этим сходством — а вовсе не за 4-ю эклогу — Вергилия вполне можно считать первым хри-

стианским поэтом. Пиши я «Божественную Комедию», я поместил бы данного автора именно в Рай. За выдающиеся заслуги перед принципом линейности — в его логическое завершение.

11.

Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени Пророка. Здесь ничего не растет, oprичь усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света. Заливаемые мочой угли костра. Этот запах! С примесью скверного табака и потного мыла. И исподнего, намотанного вокруг ихних чресел что твоя чалма. Разсизм? Но он всего лишь форма мизантропии. И этот повсеместно даже в городе летящий в морду песок, выкальвающий мир из глаз — и на том спасибо. Повсеместный бетон, консистенции кизяка и цвета разрытой могилы. О, вся эта недалновидная сволочь — Корбюзье, Мондриан, Гропиус, изуродовавшая мир не хуже любого Люфтваффе! Снобизм? Но он лишь форма отчаяния. Местное население, в состоянии полного ступора сидящее в нищих закусовых, задрав головы, как в намазе навыворот, к телеэкрану, на котором кто-то постоянно кого-то избивает. Либо — перекидывающееся в карты, вальты и девятки которых — единственная доступная абстракция, единственный способ сосредоточиться. Мизантропия? Отчаяние? Но можно ли ждать иного от пережившего апофеоз линейного принципа: от человека, которому некуда возвращаться? От большого дерматолога, сакрофага и автора «Садомахии».

12.

Дитя своего века, т. е. IV в. н. э. — а лучше: п. В. — после Виргилия, — Константин, человек действия уже хотя бы потому что — император, мог уже рассматривать себя не только как воплощение, но и как инструмент линейного принципа существования. Византия была для него крестом не только символическим, но и буквальным — перекрестком торговых путей, караванных дорог и т. п.: с востока на запад не менее, чем с севера на юг. Одно это могло привлечь его внимание к месту, давшему миру (в VII веке до н. э.) нечто, что на всех языках означает одно и то же: деньги.

Деньги же интересовали Константина чрезвычайно. Если он и обладал определенным гением, то скорее всего финан-

совым. Этому ученику Диоклетиана, так никогда и не научившемуся разделению власти с кем-либо, удалось, тем не менее, то, чего не могли добиться его предшественники: стабилизировать, выражаясь нынешним языком, валюту. Введенный при нем римский «солид» впоследствии на протяжении почти семи столетий играл роль нынешнего доллара. В этом смысле перенесение столицы в Византию было переездом банка на монетный двор, покрытием идеи — купюрой, наложением лапы на принцип.

Не следует, наверно, также упускать из виду, что благотворительность и взаимопомощь христианской Церкви в данный период представляла собой если не альтернативу государственной экономике, то, по крайней мере, выход из положения для значительной — немущей — части населения. В значительной мере популярность Христианства в эту пору зиждилась не столько на идее равенства душ перед Всевышним, сколько на осязаемых нуждающимися плодах организованной системы взаимопомощи. То была своего рода помесь карточной системы и красного креста. Ни культ Изиды, ни Неоплатонизм ничего подобного не организовывали. В чем и была их ошибка.

Можно долго гадать о том, что творилось в душе и в уме Константина в смысле Христианской веры, но, Император, он не мог не оценить организационной и экономической эффективности данной церкви.

Кроме того, помещение столицы на самом краю империи как бы превращает край в центр и предполагает равновеликое пространство по «ту» сторону, от центра считая. Что равняется на карте Индии: объекту всех известных нам имперских грез, до и после Рождества Христова.

13.

Пыль! Эта странная субстанция, летящая вам в лицо. Она заслуживает внимания, она не должна скрываться за словом «пыль». Просто ли это грязь, не находящая себе места, но составляющая самое существо этой части света? Или она — Земля, пытающаяся подняться в воздух, оторваться от самой себя, как мысль от тела, как тело, уступающее себя жару. Дождь выдает ее сущность, ибо тогда у вас под ногами змеятся буро-черные ручейки этой субстанции, придавленной обратно к булыжным мостовым, вниз по горбатым артериям этого первобытного кишлака, не успевающей слиться в лужи, ибо разбрызгиваемой бесчисленными колесами, превосходящими в своей сумме лица его обитателей, и уно-

симой ими под вопли клаксонов через мост куда-то в Азию, в Анатолию, в Ионию, в Трапезунд и в Смирну.

Как везде на Востоке, здесь масса чистильщиков обуви, всех возрастов, с ихними восхитительными, медью обитыми ящичками, с набором гуталина всех мастей в круглых медных же контейнерах величиной с маленькую, накрытых куполообразной крышкой. Настоящие переносные мечети, только что без минаретов. Избыточность этой профессии объясняется именно грязью, пылью, после пяти минут ходьбы покрывающей ваш только что отражавший весь мир штиблет серой непроницаемой пудрой. Как все чистильщики сапог, эти люди — большие философы. А лучше сказать — все философы суть чистильщики больших сапог. Поэтому не так уж важно, знаете ли вы турецкий.

14.

Кто в наше время разглядывает карту, изучает рельеф, прикидывает расстояния? Никто, разве что отпускники-автомобилисты. Даже военные этого больше не делают, со времен изобретения кнопки. Кто пишет письма с детальным перечислением и анализом увиденных достопримечательностей, испытанных ощущений? И кто читает такие письма? После нас не останется ничего, что заслуживало бы названия корреспонденции. Даже молодые люди, у которых, казалось бы, вдоволь времени, обходятся открытками. Люди моего возраста прибегают к открыткам чаще всего либо в минуту полного отчаяния в чужом для них месте, либо чтоб просто как-то убить время. Существуют, однако, места, разглядывание которых на карте на какой-то миг роднит вас с Провидением. Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие,— места, чья география вызывает историю к жизни. Таков Стамбул, он же Константинополь, он же Византия. Спятивший светофор, все три цвета которого загораются одновременно. Не красный—желтый—зеленый, но белый—желтый—коричневый. Плюс, конечно, синий, ибо это именно вода — Босфор—Мармара—Дарданеллы, отделяющие Европу от Азии... Отделяющие ли? О эти естественные пределы, проливы и уралы! Как мало они значили для армий или культур — для отсутствия последней — тем более. Для кочевников даже, пожалуй, чуть больше, чем для одушевленного принципом линейности и заведомо оправданного захватывающей картиной будущего Государя.

Не оттого ли Христианство и восторжествовало, что давало цель, оправдывающую средства, т. е. действительность; что временно — т. е. на всю жизнь — избавляло от ответст-

венности. Что следующий шаг — любой, в любом направлении — становился логическим. В духовном смысле, по крайней мере, не оказалось ли оно антропологическим эхом кочевничества: метастазом одного в психологии человека оседлого. Или лучше: не совпадало ли оно с нуждами чисто имперскими? ибо одной оплатой легионера (смысл карьеры которого — в выслуге лет, демобилизации и оседлости) не заставишь сняться с места. Его необходимо еще и воодушевить. В противном случае легионы превращаются в того самого волка, держать которого за уши умел только Тиберий.

Следствие редко способно взглянуть на свою причину с одобрением. Еще менее способно оно причину в чем-либо заподозрить. Отношения между следствием и причиной, как правило, лишены рационального, аналитического элемента. Как правило, они тавтологичны и, в лучшем случае, окрашены воодушевлением последнего к первому.

Поэтому не следует забывать, что система верования, именуемая Христианством, пришла с Востока, и поэтому же не следует исключать, что одним из соображений, обуревавших Константина после победы над Максентием и вышеупомянутого видения, было желание приблизиться чисто физически к победе этой и этого видения истоку: к Востоку. Я не очень хорошо представляю себе, что творилось об ту пору в Иудее; но, по крайней мере, понятно, что отправься Константин туда по суше, ему пришлось бы столкнуться со значительным количеством препятствий. Создавать же столицу за морем противоречило элементарному здравому смыслу. И не следует также исключать вполне возможной со стороны Константина неприязни к иудеям.

Забавна и немного пугающа, не правда ли, мысль о том, что Восток и впрямь является метафизическим центром человечества. Христианство было только одной, хотя и наиболее активной сектой, каковых в Империи было действительно великое множество. Ко времени воцарения Константина Римская империя, не в малой степени благодаря именно своему размеру, представляла собой настоящую ярмарку, базар вероисповеданий. За исключением, однако, коптов и культа Изиды, источником все предлагавшихся систем верований и культов был именно Восток.

Запад не предлагал ничего. Запад был, по существу, покупателем. Отнесем же к Западу с нежностью именно за эту его неизобретательность, обошедшую ему довольно до этого, включая раздающиеся и по сей день упреки в излишней рационалистичности. Не набивает ли этим продавец цену своему товару? И куда он отправится, набив свои сундуки?

15.

Если римские элегики хоть в какой-то мере отражали мироощущение своей публики, можно предположить, что ко времени Константина, т. е. четыре века спустя, доводы типа «отечество в опасности» и «Рах Романа» силу свою утратили. И если утверждения Эвсебия верны, то Константин оказывается ни больше ни меньше как первым крестоносцем. Не следует упускать из виду, что Рим Константина — это уже не Рим Августа. Это уже и, вообще-то говоря, не Рим античный: это Рим христианский. То, что Константин принес в Византию, уже не означало культуры классической: то была уже культура нового времени, настоянная на идее единобожия, приравнявшая политеизм — т. е. свое же собственное прошлое со всем его духом законов и т. п. — к идолопоклонству. Это был уже прогресс.

16.

Здесь я хотел бы заметить, что мои представления об античности мне и самому кажутся немножко диковатыми. Я понимаю политеизм весьма простым — и поэтому, вероятно, ложным образом. Для меня это система духовного существования, в которой любая форма человеческой деятельности, от рыбной ловли до созерцания звездного неба, освящена специфическими божествами. Так что индивидуум, при наличии определенной к тому воли или воображения, в состоянии усмотреть в том, чем он занимается, метафизическую — бесконечную — подоплеку. Тот или иной бог может, буде таковой каприз взбредет в его кучевую голову, в любой момент посетить человека и на какой-то отрезок времени в человека вселиться. Единственное, что от последнего требуется — если таково его, человека, желание, — это «очиститься», чтоб сделать этот визит возможным. Процесс очищения (катарсиса) весьма разнообразен и носит как индивидуальный (жертвоприношение, паломничество к священному месту, тот или иной обет), так и массовый (театр, спортивное состязание) характер. Очаг не отличается от амфитеатра, стадион от алтаря, каstrуля от статуи.

Подобное мироощущение возможно, я полагаю, только в условиях оседлости: когда богу известен ваш адрес. Неудивительно, что цивилизация, которую мы называем греческой, возникла именно на островах. Неудивительно, что плоды ее загипнотизировали на тысячелетия все Средиземноморье, включая Рим. Неудивительно и то, что, с ростом Им-

перии и островом не будучи, Рим от этой цивилизации в конечном счете бежал. И бегство это началось именно с цезарей, с идеи абсолютной власти. Ибо в сфере жизни сугубо политической политеизм синонимичен демократии. Абсолютная власть, автократия синонимична, увы, единобожию. Ежели можно представить себе человека непредвзятого, то ему, из одного только инстинкта самосохранения исходя, политеизм должен быть куда симпатичнее монотеизма.

Такого человека нет, его и Диоген днем с огнем не нашел бы. Более памятуя о культуре, называемой нами античной или классической, чем из вышеупомянутого инстинкта исходя, я могу сказать только, что чем дольше я живу, тем привлекательнее для меня это идолопоклонство, тем более опасным представляется мне единобожие в чистом виде. Не стоит, наверно, называть вещи своими именами, но демократическое государство есть на самом деле историческое торжество идолопоклонства над Христианством.

17.

Константин знать этого, естественно, не мог. Полагаю, что он догадывался, что Рима больше нет. Христианин в этом императоре естественным — я бы сказал, пророческим — образом сочетался с государем. В самом этом его «Сим победиши» слышна амбиция власти. И действительно: победа — более, чем он даже себе это представлял, ибо Христианство в Византии просуществовало еще десять столетий. Победа эта, однако, была, боюсь сказать, Пиррова. Качество этой победы и заставило Западную Церковь отложиться от Восточной. То есть Рим географический от Рима умышленного: от Византии. Церковь — Христову невесту, от Церкви — жены государства. В своем движении на Восток Константин, возможно, руководствовался именно Востока этого политической конгениальностью — деспотий без опыта демократии — его собственному положению. Рим географический — худобедно еще хранил какие-то воспоминания о роли сената. У Византии таких воспоминаний не было.

18.

Сегодня мне сорок пять лет. Я сижу голый по пояс в гостинице «Ликабетт» в Афинах, обливаясь потом и поглощая в огромных количествах кока-колу. В этом городе я не знаю ни души. Выйдя вечером на улицу в поисках места, где б я

мог поужинать, я обнаружил себя в гуще чрезвычайно воодушевленной толпы, выкрикивавшей нечто невразумительное — как я понимаю, у них на днях — выборы. Я брел по какой-то бесконечной главной улице, с ревущими клаксонами, запруженной то ли людьми, то ли транспортом, не понимая ни слова, — и вдруг мне пришло в голову, что это и есть тот свет, что жизнь кончилась, но движение продолжается; что это и есть вечность.

Сорок пять лет назад моя мать дала мне жизнь. Она умерла в позапрошлом году. В прошлом году — умер отец. Их единственный ребенок, я, идет по улицам вечерних Афин, которых они никогда не видели и не увидят. Плод их любви, их нищеты, их рабства, в котором они и умерли, их сын свободен. И потому что они не встречаются ему в толпе, он догадывается, что он неправ, что это — не вечность.

19.

Что видел и чего не видел Константин, глядя на карту Византии. Он видел, мягко говоря, табулу расу. Провинцию империи, населенную греками, евреями, персами и т. п. — публикой, с которой он давно уже привык иметь дело, — стипичными подданными Восточной части своей империи. Языком был греческий, но для образованного римлянина это было как французский для русского дворянина в XIX веке. Он видел город, мысом вдающийся в Мраморное море, — город, который легко было защитить, стоило только обнести его стеной. Он видел города этого холмы, отчасти напомиавшие римские, и, если он прикидывал воздвигнуть там, скажем, дворец или церковь, вид из окон должен был быть сногшибательный: на всю Азию, и вся Азия взирала бы на кресты, церковь эту венчавшие. Можно также представить себе, что он развлекал себя мыслью о контроле над доступом в этот город оставленных позади римлян. Им пришлось бы тащиться сюда через всю Аттику или плыть вокруг Пелопонесса. «Этого пушу, а этого не пушу». Так, наверно, думал он об устраиваемом им на земле варианте Рая. О, эти таможенные грезы! И он видел, как Византия приветствует в нем своего защитника от Сасанидов и от наших с вами, милостивые государи и милостивые государыни, предков с той стороны Дуная, и как она, Византия, целует крест.

Не видел же он того, что имеет дело с Востоком. Воевать с Востоком — или даже освобождать Восток — и жить на Востоке — разные вещи. Византия, при всей ее греческости, принадлежала к миру с совершенно отличными представлениями о ценности человеческого существования, нежели те, что были

в ходу на Западе, в — каким бы языческим он ни был — Риме. Хотя бы уже чисто в военном отношении Персия, например, была более реальной для Византии, чем Эллада. И разница в степенях этой реальности не могла не отразиться в мироощущении этих будущих подданных христианского государя. Если в Афинах Сократ был судим открытым судом, имел возможность произнести речь — целых три! — в свою защиту, в Исфагане или, скажем, в Багдаде такого Сократа просто бы посадили на кол — или содрали бы с него живьем кожу, — и дело с концом, и не было бы вам ни диалогов Платона, ни неоплатонизма, ни всего прочего — как их действительно и не было на Востоке; был бы просто монолог Корана... Византия была мостом в Азию, но движение по этому мосту шло в обратном направлении. Разумеется, Византия приняла Христианство, но Христианству в ней было суждено овосточиться. В этом тоже в немалой степени секрет последующей неприязни к Церкви Восточной со стороны Церкви Римской. Да, спору нет, Христианство номинально просуществовало в Византии еще тысячу лет — но что это было за Христианство и какие это были христиане — другое дело.

Не видел — точнее, не предвидел — Константин и того, что впечатление, произведенное на него географическим положением Византии, — впечатление естественное. Что подобное же впечатление Византия сможет произвести на восточных властителей, стоит им взглянуть на карту. Что и возымело место. Не раз и не два, с довольно грустными последствиями для Христианства. До VI—VII вв. трения между Востоком и Западом в Византии носили, в общем, нормальный, типа я-с-тебя-шкуру-спущу, военный характер и решались силой оружия — чаще всего в пользу Запада. Что, если и не увеличивало популярности креста на Востоке, по крайней мере внушало к нему уважение. Но к VII в. над всем Востоком восходит и воцаряется полумесяц, т. е. Ислам. С этого момента военные действия между Западом и Востоком, независимо от их исхода, начинают оборачиваться постепенной, неуклонной эрозией креста, релятивизмом византийского мироощущения в результате слишком близких и слишком частых контактов между двумя этими сакральными знаками. (Кто знает, не объясняется ли конечное поражение иконоклазма сознанием недостаточности креста как символа и необходимостью визуальной соперничества с антифигуративным искусством Ислама? Не бред ли арабской вязи подхлестывал Иоанна Дамаскина?)

Константин не предвидел, что антииндивидуализм Ислама найдет в Византии почву настолько благоприятную, что к IX веку Христианство будет готово бежать оттуда на Север. Он, конечно, сказал бы, что это не бегство, но распро-

странение Христианства, о котором он, теоретически, мечтал. И многие на это кивнут головой в знак согласия, что да, распространение. Однако Христианство, принятое Русью, уже не имело ничего общего с Римом. Пришедшее на Русь Христианство бросило позади не только тоги и статуи, но и выработанный при Юстиниане Свод Гражданских Законов. Видимо, чтоб облегчить себе путешествие.

20.

Приняв решение уехать из Стамбула, я пустился на поиски паровой компании, обслуживающей линию Стамбул—Афины или Стамбул—Венеция. Я обошел несколько контор, но, как всегда на Востоке, чем ближе вы к цели, тем туманнее способы ее достижения. В конце концов я выяснил, что раньше начала июня ни из Стамбула, ни из Смирны уплыть мне на Запад не удастся, ни на пассажирском судне, ни на сухогрузе или танкере. В одном из агентств массивная турчанка, дымя жуткой папиросой что твой океанский лайнер, посоветовала обратиться в контору компании, носящей австралийское, как я поначалу вообразил, название «Бумеранг». «Бумеранг» оказался прокуренной грязноватой конторой с двумя столами, одним телефоном, картой — естественно — мира на стене и шестью задумчивыми брюнетами, оцепеневшими от безделья. Единственно, что мне удалось извлечь из одного из них, сидящего ближе к двери, это что «Бумеранг» обслуживает советские круизы по Черному и Средиземному, но что на этой неделе у них ничего нет. Интересно, откуда родом был тот старший лейтенант на Лубянке, придумавший это название? Из Тулы? Из Челябинска?

21.

Благоприятность почвы для Ислама, которую я имел в виду, объяснялась в Византии скорее всего ее этническим составом, т. е. смешением рас и национальностей, ни врозь, ни тем более совместно не обладавших памятью о какой-либо внятной традиции индивидуализма. Не хочется обобщать, но Восток есть прежде всего традиция подчинения, иерархии, выгоды, торговли, приспособления — т. е. традиция, в значительной степени чуждая принципам нравственного абсолюта, чью роль — я имею в виду интенсивность ощущения — выполняет здесь идея рода, семьи. Я предвижу воз-

ражения и даже согласен принять их и в деталях, и в целом. Но в какую бы крайность мы при этом не впали с идеализацией Востока, мы не в состоянии будем приписать ему хоть какого-то подобия демократической традиции.

И речь при этом идет о Византии до турецкого владычества: о Византии Константина, Юстиниана, Теодоры — о Византии христианской. Но вот, например, Михаил Пселл, византийский историк, рассказывая в своей «Хронографии» о царствовании Василия II, упоминает, что его премьер-министром был его сводный брат, тоже Василий, которого в детстве, во избежание возможных притязаний на трон, просто кастрировали. «Естественная предосторожность», — отзывается об этом историк, — ибо, будучи внуком, он не стал бы пытаться отобрать трон у законного наследника. Он вполне примирился со своей судьбой, — добавляет Пселл, — и был искренне привязан к царствующему дому. В конце концов, это ведь была его семья». Речь, заметим себе, идет о царствовании Василия II, т. е. о 986—1025 гг. н. э. Пселл сообщает об этом походя, как о рутинном деле — каковым оно и было — при Византийском дворе. Н. э.? Что же тогда до н. э.?

22.

И чем измеряется эта э.? И измеряется ли она вообще? Заметим себе, что описываемое Пселлом происходит до появления турок. То есть ни о каком там Баязете-Мехмете-Сулеймане еще ни слуху, ни духу. Когда мы еще толкуем священные тексты, боремся с ересями, созываем соборы, сочиняем трактаты. Это — одной рукой. Другой мы кастрируем выблюдка, чтоб у него, когда подрастет, не возникло притязаний на трон. Это и есть восточное отношение к вещам, к человеческому телу, в частности; и какая там э. или тысячелетье на дворе, никакой роли не играет. Неудивительно, что Римская Церковь воротит от Византии нос. И тут нужно кое-что сказать о Римской Церкви.

Ей, конечно, естественно было от Византии отвернуться. По причинам, перечисленным выше, но и еще потому, что объективно говоря, Византия, этот Новый Рим, бросила Рим подлинный на произвол судьбы. За исключением Юстиниана, Рим был полностью предоставлен самому себе, то есть Визиготам, Вандалам и всем прочим, кому было не лень сводить с бывшей столицей древние или новые счета. Константин еще понять можно: он вырос и провел большую часть своей жизни именно в Восточной империи. Что касается последующих византийских императоров, их отношение к Ри-

му подлинному несколько менее объяснимо. Естественно, у них был хлопот полон рот дома, на Востоке, учитывая непосредственных соседей. Тем не менее, титул Римского императора все-таки должен был накладывать некоторые географические обязанности.

Вся история, конечно, была в том, что Римскими императорами после Юстиниана становились выходцы, главным образом, из Восточных провинций, являвшихся главным поставщиком рекрутов для легионов,— т. е. с нынешних Балкан, из Сирии, из Армении и т. п. Рим для них был, в лучшем случае, идеей. Как и большинство своих подданных, некоторые из них и по-латыни не знали ни слова. Тем не менее, все считали себя, и назывались, и писались Римлянами. (Не-что подобное можно наблюдать и сегодня в разнообразных доминионах Британской Империи или — зачем далеко ходить за примерами — среди, допустим, эвенков, являющихся советскими гражданами.)

Иными словами, Рим сам по себе, и Римская Церковь тоже оказалась предоставленной самой себе. Было бы слишком долгим занятием описывать взаимоотношения Церкви в Византии и Церкви в Риме. Можно только заметить, что, в общем, оставленность Рима пошла в известной мере Римской Церкви на пользу. Но не только на пользу.

23.

Я не предполагал, что эта записка о путешествии в Стамбул так разрастется,— и начинаю уже испытывать раздражение: и в отношении самого себя, и в отношении материала. С другой стороны, я сознаю, что другой возможности обсудить все эти дела мне не представится, ибо, если она и представится, я ее сознательно упущу. В дальнейшем я обещаю себе и тем, кто уже дошел в чтении до этого места, большую сжатость — хотя более всего мне хотелось бы сейчас бросить всю эту затею.

Уж если довелось прибегнуть к прозе — средству именно тем автору сих строк и ненавистному, что она лишена какой бы то ни было формы дисциплины, кроме подобия той, что возникает по ходу дела,— уж если довелось пользоваться прозой, то лучше было бы сосредоточиться на деталях, на описании мест и характеров — то есть тех вещей, столкнуться с которыми читателю этой записки, возможно, и не случится. Ибо все вышеизложенное, равно как и все последующее, рано или поздно должно прийти в голову любому человеку: ибо все мы, так или иначе, находимся в зависимости от истории.

Польза изолированности Церкви Римской от Церкви Восточной заключалась прежде всего в естественных выгодах, связанных с любой формой автономии. То есть Церкви в Риме почти никто и ничто, за исключением ее самой, не мешало выработаться в определенную твердую систему. Что и произошло. Комбинация Римского Права, принимаемого в Риме более всерьез, нежели в Византии, и собственной логики внутреннего развития Римской Церкви действительно определилась в этико-политическую систему, лежащую в основе так называемой западной концепции государственного и индивидуального бытия. Как почти всякий развод, и этот, между Византией и Римом, был далеко не полным; масса имущества оставалась общей. Но, в общем, можно утверждать, что названная концепция очертила вокруг себя некий круг, который именно в концептуальном смысле Восток не переступал и в пределах которого — весьма обширных — и выработалось то, что мы называем, или подразумеваем, под Западным Христианством и вытекающим из него миропониманием.

Недостаток всякой, даже совершенной, системы состоит именно в том, что она — система. То есть в том, что ей, по определению, ради своего существования приходится нечто исключать, рассматривать нечто как чуждое и постольку, поскольку это возможно, приравнивать это чуждое к несуществующему.

Недостатком системы, выработавшейся в Риме, недостатком Западного Христианства явилось его невольное ограничение представлений о Зле. Любые представления о чем бы то ни было зиждятся на опыте. Опыт зла для Западного Христианства оказался опыт, нашедший свое отражение в Римском Праве, с добавлением опыта преследования христиан римскими императорами до воцарения Константина. Этого немало, но это далеко не исчерпывает его, зла, возможности. Разведясь с Византией, Западное Христианство, тем самым приравнило Восток к несуществующему и этим сильно и, до известной степени, губительно для самого же себя снизило свои представления о человеческом негативном потенциале.

Сегодня, если молодой человек забирается с автоматом на университетскую башню и начинает поливать оттуда прохожих, судья — если этого молодого человека удастся обезвредить и он предстает пред судом — квалифицирует его как невменяемого, и его запирают в лечебницу для душевнобольных. На деле же поведение этого молодого человека принципиально ничуть не отличается от кастрации того царского выблядка, о котором нам повествует Пселл. Как и не отличается оно от Иранского Имама, кладущего десятки ты-

сяч животов своих подданных во имя утверждения его, Имама, представлений о воле Пророка. Или — от тезиса, выдвинутого Джугашвили в процессе, все мы знаем, чего, о том, что «у нас незаменимых нет». Общим знаменателем этих акций является антииндивидуалистическое ощущение, что человеческая жизнь — ничто, т. е. отсутствие — вполне естественное — представления о том, что она, человеческая жизнь, священна, хотя бы уже потому, что уникальна.

Я далек от того, чтобы утверждать, что отсутствие этого понимания — явление сугубо восточное. Весь ужас именно в том, что нет. Но непростительная ошибка Западного Христианства со всеми вытекающими из оногo представлениями о мире, законе, порядке, норме и т. п. заключается именно в том, что, ради своего собственного развития и последующего торжества, оно пренебрегло опытом, предложенным Византией. Отсюда все эти становящиеся теперь почти ежедневными сюрпризы, отсюда эта неспособность — государственных систем и индивидуальная — к адекватной реакции, выражающаяся в оценке явлений вышеупомянутого характера как следствий душевного заболевания, религиозного фанатизма и проч.

25.

В Топкапи — превращенном в музей дворце турецкого султана — в отдельном павильоне собраны наиболее священные сердцу всякого мусульманина предметы, связанные с жизнью Пророка. В восхитительно инкрустированных шкапулках хранятся зуб Пророка, волосы с головы Пророка. Посетителей просят не шуметь, понизить голос. Еще там вокруг разнообразные мечи, кинжалы, истлевший кусок шкуры какого-то животного с различными на нем буквами письма Пророка какому-то конкретному историческому лицу и прочие священные тексты, созерцая которые, невольно благодаришь судьбу за незнание языка. Хватит с меня и русского, думал я. В центре, под стеклянным квадратным колпаком, в раме, отороченной золотом, находится предмет темно-коричневого цвета, сущность коего я не уразумел, пока не прочел табличку. Табличка, естественно, по-турецки и по-английски. Отлитый в бронзе «Отпечаток стопы Пророка». Минимум сорок восьмой размер обуви, подумал я, глядя на этот экспонат. И тут я содрогнулся: Иети!

26.

Византия была переименована в Константинополь, если не ошибаюсь, при жизни Константина. В смысле простоты

гласных и согласных, это название было, наверно, популярней у турок-сельджуков, чем Византия. Но и Стамбул тоже звучит достаточно по-турецки; для русского уха, во всяком случае. На самом деле Стамбул — название греческое, происходит, как будет сказано в любом путеводителе, от греческого «стан полин» — что означает (ло) просто «город». «Стан»? «Полин»? Русское ухо? Кто здесь кого слышит? Здесь, где «бардак» значит стакан. Где «дурак» значит «остановка». «Бир бардак чай» — один стакан чаю. «Дурак автобуса» — остановка автобуса. Ладно хоть, что автобус только наполовину греческий.

27.

Человеку с одышкой тут делать нечего, разве что нанять на весь день такси. Для попадающих в Стамбул с Запада город этот чрезвычайно дешев. В переводе на доллары — марки — франки и т. п. некоторые вещи не стоят ничего. Точнее: оказываются по ту сторону стоимости. Те же самые ботинки или, например, чай. Странное это ощущение — наблюдать деятельность, не имеющую денежного выражения: никак не оцениваемую. Похоже на некий тот свет, пре-мир, и, вероятно, именно эта потусторонность и составляет знаменитое «очарование» Востока для северного скряги.

28.

Что впоследствии — хорошо известно: невесть откуда возникли турки. Откуда они появились, ответ на это не очень внятен; ясно, что весьма издалека. Что привело их на берег Босфора — тоже не очень ясно, но понятно, что лошади. Турки — точнее: тюрки — были кочевниками: так нас учили в школе. Босфор, естественно, оказался преградой, и здесь-то тюрки, вместо того, чтобы откочевать назад, решили перейти к оседлости. Все это звучит не очень убедительно, но мы это так и оставим. Чего они хотели от Константинополя — Византии — Стамбула — это, по крайней мере, понятно: они хотели быть в Константинополе. Примерно того же, что и сам Константин. До XI века сакрального знака у них не было. В XI-м он появился. Как мы знаем, это был полумесяц.

Но в Константинополе были христиане, константинопольские церкви венчал крест. Тюркский, постепенно превратившийся в турецкий, роман с Византией продолжался примерно три столетия. Постоянство принесло свои плоды, и в XIV веке

крест уступил купола полумесяцу. Остальное хорошо документировано, и распространяться об этом нужды нет. Хотелось бы только отметить значительное структурное сходство того, «как было», с тем, «как стало». Ибо смысл истории в существе структур, не в характере декора.

29.

Смысл истории! Что, в самом деле, может поделаться перо с этим смещением рас, языков, вероисповеданий — с этим принявшим вегетативный, зоологический характер падением вавилонской башни, в результате которого, в один прекрасный день, индивидуум обнаруживает себя смотрящим со страхом и отчуждением на свою руку или на свой детородный орган — не а ля Витгенштейн, но охваченный ощущением, что эти вещи принадлежат не ему, что они — всего лишь составные части, детали «конструктора», осколки калейдоскопа, сквозь который не причина на следствие, но слепая случайность смотрит на свет. Можно выскочить на улицу — но там летит пыль.

30.

Разница между духовной и светской властью в Византии христианской была чрезвычайно незначительной. Номинально государю следовало считаться с суждениями Патриарха — что нередко имело место. С другой стороны, государь зачастую не только назначал Патриарха, но, в ряде случаев, оказывался или имел основания считать себя большим христианином, чем Патриарх. Мы уже не говорим о концепции помазанника Божьего, которая одна могла избавить государя от необходимости считаться с чьим бы то ни было мнением. Что тоже имело место, и что, в сочетании с механическими чудесами, до которых Теофилий I был большой любитель — и оказало, между прочим, решающее влияние на выбор, сделанный Русью в IX веке. (Между прочим же, чудеса эти: рыкающие искусственные львы, механические соловьи, поднимающийся в воздух трон и т. п. — византийский государь заимствовал, слегка их модифицировав, на Востоке, у своих персидских соседей.)

Нечто чрезвычайно схожее происходило и с Высокой Портой, то бишь с Оттоманской Империей, то бишь с Византией Мусульманской. Мы опять-таки имеем дело с автократией, несколько более деспотического, сильно военизированного

характера. Абсолютный глава государства — падишах, он же султан. При нем, однако, существует Великий Муфтий — должность, совмещающая — отождествляющая — власть духовную с административной. Управляется же все государство посредством чрезвычайно сложной иерархической системы, в которой преобладает религиозный (для удобства скажем — идеологически выдержанный) элемент.

В чисто структурном отношении, расстояние между Вторым Римом и Оттоманской Империей измеряемо только в единицах времени. Что это тогда? Дух места? Его злой гений? Дух порчи? И откуда, между прочим, «порча» эта в нашем лексиконе? Не от «Порты» ли? Неважно. Достаточно, что и Христианство, и бардак с дураком пришли к нам именно из этого места. Где люди обращались в Христианство в V веке с такой же легкостью, с какой они переходили в Ислам в XIV-м (и это при том, что после захвата Константинополя турки христиан никак не преследовали). Причины и того и другого обращений были те же самые: практические. Впрочем, это уже никак не связано с местом; это связано с видом.

31.

О все эти бесчисленные Османы, Мехметы, Мурады, Баязеты, Ибрагимы, Селимы и Сулейманы, вырезавшие друг друга, своих предшественников, соперников, братьев, родителей и потомство — в случае Мурада II или III — какая разница! — девятнадцать братьев кряду — с регулярностью человека, бреющего перед зеркалом. О эти их бесконечные, непрерывные войны: против неверных, против своих же мусульман — но — шиитов, за расширение империи, в отместку за нанесенные обиды, просто так, и из самозащиты. И, о этот институт янычар, элита армии, преданная сначала султану, но постепенно вырабатывавшаяся в отдельную, только со своими интересами считавшуюся касту, — как все это знакомо! О все эти чалмы и бороды — эта униформа головы, одержимой только одной мыслью: резать — и потому — а не только из-за запрета, накладываемого исламом на изображение чего бы то ни было живого, — совершенно неотличимые друг от друга! Потому, возможно, и «резать», что все так друг на друга похожи и нет ощущения потери. Потому и «резать», что никто не бреется. «„Режу“, следовательно, существую».

Да и что, вообще говоря, может быть ближе сердцу вчерашнего кочевника, чем принцип линейности, чем перемещение по плоскости, хоть в ту, хоть в эту сторону. И не оправданием, и не пророчеством ли одновременно звучат слова одного из них, опять-таки Селима, сказанные им при завое-

вании Египта, что он, как властитель Константинополя, наследует Восточную Римскую Империю и, следовательно, имеет право на земли, когда-либо ей принадлежавшие! Не та же ли нота зазвучит четыреста лет спустя в устах Устрялова и Третьеримских славянофилов, чей алый, цвета янычарского плаща, флаг благополучно вобрал в себя звезду и полумесяц Ислама? И молот — не модифицированный ли он крест?

Эти непрерывные, на протяжении без малого тысячелетия, войны, эти бесконечные трактаты со схоластическими интерпретациями искусства стрельбы из лука — не они ли ответственны за выработавшееся в этой части света отождествление армии и государства, политики — как — продолжение — войны — только — другими — средствами, за вдохновенные, но баллистически реальные фантазии Циолковского?

И эта загадочная субстанция, эта пыль, летящая вам в морду на улицах Стамбула, — не есть ли это просто бездомная материя насильственно прерванных бесчисленных жизней, понятия не имеющая — чисто по-человечески, — куда ей приткнуться? Так и возникает грязь, что, впрочем, тоже не спасает от сильной перенаселенности.

Человека с воображением, да к тому же еще и нетерпеливого, очень подмывает ответить на эти вопросы утвердительно. Но, может быть, не следует торопиться; может быть, надо повременить и дать им возможность стать «проклятыми» — даже если на это уйдет несколько веков. О эти «века!» — любимая единица истории, избавляющая индивидуума от необходимости личной оценки происшедшего и награждающая его почетным статусом жертвы истории.

32.

В отличие от оледенения, цивилизации — какие они ни на есть — перемещаются с Юга на Север. Как бы стремясь заполнить вакуум, оставленный оледенением. Тропический лес постепенно одолевает хвойный и смешанный — если не с помощью листа, то с помощью архитектуры. Иногда возникает ощущение, что барокко, рококо, даже шинкель — просто бессознательная тоска вида о его вечно-зеленом прошлом. Папоротник пагод — тоже.

В широтном направлении перемещаются только кочевники. И, как правило, с Востока на Запад. Кочевничество имеет смысл только в определенной климатической зоне. Эскимосы — в пределах полярного круга; татары и монголы — в пределах черноземной полосы. Купола юрт и иглу, конусы палаток и чумов.

Я видел мечети Средней Азии — мечети Самарканда, Бу-

хары, Хивы: подлинные перлы мусульманской архитектуры. Как не сказал Ленин, ничего не знаю лучше Шах-И-Зинды, на полу которой я провел несколько ночей, не имея другого места для ночлега. Мне было девятнадцать лет, но я вспоминаю с нежностью об этих мечетях отнюдь не поэтому. Они — шедевры масштаба и колорита, они — свидетельства лиричности Ислама. Их глазури, их изумруд и кобальт запечатлеваются на вашей сетчатке в немалой степени благодаря контрасту с желто-бурым колоритом окружающего их ландшафта. Контраст этот, эта память о цветовой (по крайней мере) альтернативе реальному миру, и был, возможно, поводом к их появлению. В них действительно ощущается идеосинкретичность, самоувлеченность, желание за (со)вершить самих себя. Как лампы в темноте. Лучше: как кораллы — в пустыне.

33.

Стамбульские же мечети — это Ислам торжествующий. Нет большего противоречия, чем торжествующая Церковь, — и нет большей безвкусицы. От этого страдает и Св. Петр в Риме. Но мечети Стамбула! Эти гигантские, насеившие на землю, не в силах от нее оторваться застывшие каменные жабы! Только минареты, более всего напоминающие — прощески, боюсь, — установки класса земля—воздух, и указывают направление, в котором собиралась двинуться душа. Их плоские, подобные крышкам кастрюль или чугунных латок, купола, понятия не имеющие, что им делать с небом: скорей предохраняющие содержимое, нежели поощряющие воздеть очи горе. Этот комплекс шатра! придавленности к земле! намаза.

На фоне заката, на гребне холма, их силуэты производят сильное впечатление: рука тянется к фотоаппарату, как у шпиона при виде военного объекта. В них и в самом деле есть нечто угрожающе-потустороннее, инопланетное, абсолютно герметическое, панциреобразное. И все это того же грязно-бурого оттенка, как и большинство построек в Стамбуле. И все это на фоне бирюзы Босфора.

И если перо не поднимается упрекнуть ихних безымянных правоверных создателей в эстетической тупости, то это потому, что тон этим донным, жабо- и крабообразным сооружениям задан был Айя-Софией — сооружением в высшей степени христианским. Константин, утверждают, заложил ей основание: возведена же она при Юстиниане. Снаружи отличить ее от мечетей невозможно, ибо судьба сыграла над Айя-Софией злую (злую ли?) шутку. При не помню уж каком

султане, да это и неважно — была Айя-София превращена в мечеть.

Превращение это больших усилий не потребовало: просто с обеих сторон возвели мусульмане четыре минарета. И стало Айя-Софию не отличить от мечети. То есть архитектурный стандарт Византии был доведен до своего логического конца. Это именно с ее приземистой грандиозностью соперничали строители мечетей Баязета и Сулеймана, не говоря уже о меньших братьях. Но и за это упрекать их нельзя — не только потому, что к моменту их прихода в Константинополь Айя-София царила над городом, но, прежде всего, потому что и сама-то она была сооружением не римским, но именно Восточным, точнее — Сасанидским. Как и нельзя упрекать того, неважно — как — его — зовут, султана за превращение христианского храма в мечеть: в этой трансформации сказалося то, что можно, не подумав, принять за глубокое равнодушие Востока к проблемам метафизического порядка. На самом же деле за этим стояло и стоит, как сама Айя-София с ее минаретами и христианско-мусульманским декором внутри, историей и арабской вязью внушенное ощущение, что все в этой жизни переплетается, что все, в сущности, есть узор ковра. Попираемого стопой.

34.

Это — чудовищная идея, не лишенная доли истины. Но попытаемся с ней справиться. В ее истоке лежит восточный принцип орнамента, основным элементом которого служит стих Корана, цитата из Пророка: вышитая, выгравированная, вырезанная в камне или дереве — и с самим процессом вышивания, гравировки, вырезания и т. п. графически — если принять во внимание арабскую письменность — совпадающая. То есть речь идет о декоративном аспекте письменности, о декоративном использовании фразы, слова, буквы; о чисто визуальном к ним отношении. Оставляя в стороне неприемлемость подобного взгляда на слово (как, впрочем, и на букву), отметим здесь лишь неизбежно буквальное, пространственное — восприятие того или иного священного речения. Отметим зависимость этого орнамента от длины строки и от дидактического аспекта речения, зачастую уже достаточно орнаментального самого по себе. Напомним себе: единица восточного орнамента — фраза, слово, буква.

Единицей — основным элементом — орнамента, возникшего на Западе, служит счет: зарубка — и у нас в этот момент — абстракции, — отмечающая движение дней. Орнамент этот, иными словами, временной. Отсюда его ритмичность,

его тенденция к симметрии, его принципиально абстрактный характер, подчиняющий графическое выражение ритмическому ощущению. Его сугубую не(анти)дидактичность. Его — за счет ритмичности, повторимости — постоянное абстрагирование от своей единицы, от единожды уже выраженного. Говоря короче, его динамичность.

Я бы заметил еще, что единица этого орнамента — день — идея дня — включает в себя любой опыт, в том числе и опыт священного речения. Из чего следует соображение о превосходстве бордюрички греческой вазы над узором ковра. Из чего следует, что еще неизвестно, кто больший кочевник: тот ли, кто кочует в пространстве, или тот, кто кочует во времени. Идея, что все переплетается, что все лишь узор ковра, стопой попираемого, сколь бы захватывающей (и буквально тоже) она ни была, все же сильно уступает идее, что все остается позади, ковер и попирающую его стопу — даже свою собственную — включая.

35.

О, я предвижу возражения! Я предвижу искусствоведа или этнолога, готовых оспорить с цифрами и с черепками в руках все вышеизложенное. Я предвижу человека в очках, вносящего индийскую или китайскую вазу с бордюричком, только что мной описанным, и восклицаящим: А это что? И разве Индия (или Китай) не Восток? Хуже того, ваза эта или блюдо могут оказаться из Египта, вообще из Африки, из Патагонии, из Северной Америки. И заструится поток доказательств несравненной ихней правоты относительного того, что доисламская культура была фигуративной, что таким образом Запад просто отстал от Востока, что орнамент вообще, по определению, нефункционален или что пространство больше, чем время. Что я, в целях скорей всего политических, подменяю историю антропологией. Что-нибудь в этом роде, или того похуже.

Что мне сказать на это? И надо ли говорить что-либо? Не уверен; но, тем не менее, замечу, что, не предвидя я этих возражений, я бы за перо не брался. Что пространство для меня действительно и меньше, и менее дорого, чем время. Не потому, однако, что оно меньше, а потому, что оно — вещь, тогда как время есть мысль о вещи. Между вещью и мыслью, скажу я, всегда предпочтительнее последнее.

И еще я предвижу, что не будет ни ваз, ни черепков, ни блюда, ни человека в очках. Что возражений не последует, что воцарится молчание. Не столько как знак согласия, сколько как свидетельство безразличия. Поэтому устервим наш

довод немного и добавим, что ощущение времени есть глубоко индивидуалистический опыт. Что в течение жизни каждый человек, рано или поздно, оказывается в положении Робинзона Крузо, делающего зарубки и, насчитав, допустим, семь или десять, их перечеркивающего. Это и есть природа орнамента, независимо от предыдущей цивилизации или той, к которой человек этот принадлежит. И зарубки эти — дело глубоко одинокое, обособляющее индивидуума, вынуждающее его к пониманию если не уникальности, то автономности его существования в мире.

Это и есть основа нашей цивилизации. Это и есть то, от чего Константин ушел на Восток. К ковру.

36.

Нормальный, душный, потный, пыльный, майский день в Стамбуле. Сверх того, воскресенье. Человеческое стадо, бродящее под сводами Айи-Софии. Там, вверху, недостижимые для зренья, мозаики с изображением то ли царей, то ли Святых. Ниже, на стенах, достигаемые, но недоступные разумению круглые металлические щиты с золотыми по черному полю, весьма стилизованными цитатами из Пророка. Своего рода монументальные камни с литерами, напоминающими Джаксона Поллака или Кандинского. И тут я замечаю, что — скользко: собор потеет. Не только пол, но и мрамор стен. Камень потеет. Спрашиваю — говорят, от сильного перепада температуры. Я решаю — от моего присутствия, и выхожу.

37.

Взглянуть на Отечество извне можно, только оказавшись вне стен Отечества. Или — расстелив карту. Но, как замечено выше, кто теперь смотрит на карту?

Если цивилизации — именно какие они ни на есть — действительно распространяются, как растительность, в направлении, обратном оледенению, с Юга на Север, то куда было Руси при ее географическом положении деваться от Византии? Не только Руси Киевской, но и Московской, а там уж и всему остальному между Донцом и Уралом? И нужно еще поблагодарить Тамерлана и Чингиз-хана за то, что они несколько задержали процесс, что несколько подморозили, точнее — подмяли, цветы Византии. Это неправда, что Русь сыграла роль щита, предохранившего Запад от татаро-монгольского ига. Роль щита этого сыграл Константинополь — тогда

еще оплот организованного Христианства. (В 1403 году, между прочим, возникла под стенами Константинополя ситуация, которая чуть было не обернулась для Христианского — вообще для всего тогда известного — мира абсолютной катастрофой: Тамерлан встретился с Баязетом. По счастью, они обратили оружие против друг друга — оказалось, видимо, внутрирасовое соперничество. Объединись они против Запада, т. е. в том направлении, в котором они оба двигались, мы смотрели бы нынче на карту миндалевидным, преимущественно, карим оком.)

Деваться Руси от Византии было действительно некуда, подобно тому как и Западу от Рима. И подобно тому как он зарастал с веками римской колоннадой и законностью, Русь оказалась естественной географической добычей Византии. Если на пути первого стояли Альпы, второму мешало только Черное море — глубокая, но, в конечном счете, плоская вещь. Русь получила — приняла — из рук Византии все: не только христианскую литургию, но, и это главное, христианско-турецкую (и постепенно все более турецкую, ибо более неуязвимую, более военно-идеологическую) систему государственности. Не говоря уж о значительной части собственно словаря. Единственно, что Византия растеряла по дороге на Север, это свои замечательные ереси, своих Монофизитов, свой Арианизм, своих Неоплатоников и проч., составлявших самое существо ее духовного и литературного бытия. Но распространение ее на Север происходило в период все большего воцарения полумесяца, и чисто физическая мощь Высокой Порты гипнотизировала Север в большей мере, нежели теологическая полемика вымирающих схоластов.

В конце концов, восторжествовал же Неоплатонизм в искусстве. Мы знаем, откуда наши иконы, мы знаем, откуда наши луковки-маковки церквей. Мы знаем также, что нет ничего легче для государства, чем приспособить для своих нужд максимум Плотина насчет того, что задачей художника должно быть не подражание природе, но интерпретация идей. Что же касается идей, то чем покойный Суслов или кто там теперь занимает его место — не Великий Муфтий? Чем Генсек не Падишах или, лучше того, Император? И кто, в конце концов, назначает Патриарха, как, впрочем, и Великого Визиря, и Муфтия, и Халифа? И чем Политбюро — не Великий Диван? И не один ли шаг — шаг — от дивана до оттоманки?

Не Оттоманская ли мы теперь Империя — по площади, по военной мощи, по угрозе для мира Западного. И не больше ли наша угроза оттого, что исходит она от обвосточившегося до неузнаваемости — нет! до узнаваемости! — Христианства. Не больше ли она, оттого что — соблазнительней? И что мы слышим уже в этом вопле покойного Милюкова: «А Дарданеллы будут наши!»? Эхо Катона? Тоску христианина по

своей святыне? Или все еще голос Баязета, Тамерлана, Селима, Мехмета? И уж коли на то пошло, коли уж мы цитируем и интерпретируем, то что звучит в этом крике Константина Леонтьева — крике, раздавшемся именно в Стамбуле, где он служил при русском посольстве: «Россия должна править бесстыдно!». Что мы слышим в этом паскудном пророческом возгласе? Дух века? Дух нации? Или дух места?

38.

Не дай нам Бог дальше заглядывать в турецко-русский словарь. Остановимся на слове «чай», означающем именно чай, откуда бы оно и он ни пришли. Чай в Турции замечательный, лучше, чем кофе, и, как почистить ботинки, ничего не стоит в переводе на любые известные нам деньги. Он крепок, цвета прозрачного кирпича, но не будоражит, ибо подается в этом бардаке — стакане емкостью грамм в пятьдесят, не больше. Он — лучшее, из всего попавшегося мне в Стамбуле, этой помеси Астрахани и Сталинабада.

Чай — и зрелище стены Константина, которой я бы не увидел, если бы мне не повезло и шофер такси, которому сказано было ехать в Топкапи, не оказался жуликом и не покатыл вокруг всего города.

По высоте, толщине и характеру кладки стены вы можете судить о серьезности намерений ее строителя. Константин был предельно серьезен: ее развалины, в которых теперь ютятся цыгане, козы и промышляющие телом молодые люди, и сегодня могли бы удержать любую армию, будь нынешняя война позиционной. С другой стороны, если признать за цивилизациями характер растительный, то есть идеологический, то возведение и этой стены было пустой тратой времени. От антииндивидуализма, во всяком случае, от духа подчинения и релятивизма, ни стеной, ни морем не отгородиться.

Добравшись, в конце концов, до Топкапи и осмотрев большую часть его содержимого — преимущественно «кафтаны» султанов, и лингвистически и визуально абсолютно совпадающие с гардеробом московских государей, я направился к цели моего во дворец этот паломничества — к сералю: только чтобы обнаружить на дверях этого главного на свете павильона табличку, сообщавшую по-турецки и по-английски «Закрит на реставрацию». О если бы! — воскликнул я мысленно, пытаясь совладать с разочарованием.

Пора завязывать. Парохода, как я сказал, ни из Стамбула, ни из Смирны было не найти. Я сел в самолет и через два часа полета над Эгейским морем — сквозь воздух, не менее некогда обитаемый, чем архипелаг внизу, — приземлился в аэропорту в Афинах.

В 68 километрах от Афин, в Суньоне, на вершине скалы, падающей отвесно в море, стоит построенный почти одновременно с Парфеноном в Афинах — разница в каких-нибудь 50 лет — храм Посейдона. Стоит уже две тыщи с половиной лет.

Он раз в десять меньше Парфенона. Во сколько раз он прекрасней, сказать трудно, ибо непонятно, что следует считать единицей совершенства. Крыши у него нет.

Вокруг — ни души. Суньон — рыбацкая деревня с двумя-тремя теперь современными гостиницами — лежит далеко внизу. Там, на вершине темной скалы, в вечерней дымке, издали храм выглядит скорее спущенным с неба, чем воздвигнутым на земле. У мрамора больше сходства с облаком, нежели с почвой.

Восемнадцать белых колонн, соединенных белым же мраморным основанием, стоят на равном друг от друга расстоянии. Между ними и землей, между ними и морем, между ними и небом Эллады — никого и ничего.

Как и почти всюду в Европе, здесь побывал Байрон, вырезавший на основании одной из колонн свое имя. По его стопам автобус привозит туристов; потом он их увозит. Эрозия, от которой поверхность колонн заметно страдает, не имеет никакого отношения к выветриванию. Это — оспа взоров, линз, вспышек.

Потом спускаются сумерки, темнеет. Восемнадцать колонн, восемнадцать вертикальных белых тел, на равном расстоянии друг от друга, на вершине скалы, под открытым небом встречают ночь.

Если бы они считали дни, таких дней было бы шестьдесят миллионов. Издали, впрочем, в вечерней дымке, благодаря равным между собой интервалам, белые их вертикальные тела и сами выглядят как орнамент.

Идея порядка? Принцип симметрии? Чувство ритма? Идолопоклонство?

Наверное, следовало взять рекомендательные письма, записать, по крайней мере, два-три телефона, отправляясь в Стамбул. Я этого не сделал. Наверное, следовало с кем-то

познакомиться, вступить в контакт, взглянуть на жизнь этого места изнутри, а не сбрасывать местное население со счетов как чуждую толпу, не отметать людей, как лезущую в глаза психологическую пыль.

Что ж, вполне возможно, что мое отношение к людям, в свою очередь, тоже пахнет Востоком. В конце концов, откуда я сам? Но в определенном возрасте человек устает от себе подобных, устает засорять свои сознание и подсознание. Еще один — или десяток — рассказ о жестокости? Еще десяток — или сотня — примеров человеческой подлости, глупости, доблести? У мизантропии, в конце концов, тоже должны быть какие-то пределы.

Достаточно поэту, взглянув в словарь, установить, что «каторга» — тоже турецкое слово. Как и достаточно обнаружить на турецкой карте — то ли в Анатолии, то ли в Ионии — город, называющийся «Нигде».

41.

Я не историк, не журналист, не этнограф. Я, в лучшем случае, путешественник, жертва географии. Не истории, заметьте себе, но географии. Это то, что роднит меня до сих пор с державой, в которой мне выпало родиться, с нашим печально, дорогие друзья, знаменитым Третьим Римом. Поэтому меня не слишком интересует политический курс нынешней Турции, реформы Ататюрка, чей портрет украшает засаленные обои самой последней кофейни, равно как и не поддающуюся никакому конвертированию и являющуюся нереальной формой оплаты реального труда турецкую лиру.

Я приехал сюда взглянуть на прошлое, не на будущее, ибо последнего здесь нет: оно, какое оно ни есть, тоже ушло отсюда на Север. Здесь есть только незавидное, третьесортное настоящее трудолюбивых, но ограбленных интенсивностью истории этого места людей. Больше здесь уже никогда ничего не произойдет, кроме разве что уличных беспорядков или землетрясения. Может быть, впрочем, здесь еще откроют нефть: уж больно сильно воняет сероводородом Золотой Рог, с маслянистой поверхностью которого открывается такой шикарный вид на панораму Стамбула. Впрочем, вряд ли, и вонь эта — вонь нефти, проливаемой проходящими через пролив ржавыми, только что не дырявыми танкерами. На ней одной, по-моему, можно было бы сколотить состояние.

Впрочем, подобный проект покажется, наверно, местному человеку чересчур предприимчивым. Местный человек по натуре скорей консервативен, даже если он делец или negociant, не говоря уже о рабочем классе, невольно, но наглухо

запертом в традиционности, в консервативности нищенской оплатой труда. В своей тарелке местный человек выглядит здесь более всего под сводами бесконечно переплетающихся, подобно узору ковра или арабской вязи мечетей, галерей местного базара, который и есть сердце, мозг и душа Стамбула. Это — город в городе; это и выстроено на века. Этого ни на Запад, ни на Север, ни даже на Юг не перенести. ГУМ, Бомарше, Харрод, Мэйси, вместе взятые и в куб возведенные, суть детский лепет в сравнении с этими катакомбами. Станным образом, но благодаря горящим везде гирляндам желтых стоваттных лампочек и бесконечной россыпи бронзы, бус, браслетов, серебра и золота под стеклом, не говоря уже о собственно коврах, иконах, самоварах, распятиях и прочем, базар этот в Стамбуле производит впечатление именно православной церкви, разветвляющейся и извивающейся, впрочем, как цитата из Пророка. Плоский вариант Айя-Софии.

42.

Цивилизации двигаются в меридиональном направлении. Кочевники (включая войны новейшего времени, ибо война суть эхо кочевого инстинкта) — в широтном. Это, видимо, еще один вариант креста, привидевшегося Константину. Оба движения обладают естественной (растительной или животной) логикой, учитывая которую нетрудно оказаться в состоянии, когда никого и ни в чем нельзя упрекнуть. В состоянии, именуемом меланхолией или — более справедливо — фатализмом. Его можно приписать возрасту, влиянию Востока; при некотором усилении воображения — христианскому смирению.

Выгоды этого состояния очевидны, ибо они эгоистичны. Ибо оно — как и всякое, впрочем, смирение — достигается всегда за счет немного бессилия жертв истории — прошлых, настоящих, будущих; ибо оно является эхом бессилия миллионов. И если вы уже не в том возрасте, когда можно вытащить из ножен меч или вскарабкаться на трибуну, чтобы проорать морю голов о своем отвращении к прошедшему, происходящему и имеющему произойти, если таковая трибуна отсутствует или если таковое море пересохло, — все-таки остается еще лицо и губы, по которым может еще скользнуть вызванная открывающейся как мысленному, так и ничем невооруженному взору картиной, улыбка презрения.

С ней, с этой улыбкой на устах, можно взобраться на паром и отправиться пить чай в Азию. Через двадцать минут можно сойти в Чингальчее, найти кафе на самом берегу Бос-

фора, сесть на стул, заказать чай и, вдыхая запах гниющих водорослей, наблюдать, не меняя выражения лица, как авианосцы Третьего Рима медленно плывут сквозь ворота Второго, направляясь в Первый.

Стамбул—Афины, июнь 1985 г.

Л. Н. Гумилев

ПОСЕЩЕНИЕ АСМОДЕЯ
(Осенняя сказка)

Действующие лица:

ПЬЕРО
АРЛЕКИН
КОЛОМБИНА
ПРОФЕССОР
АСМОДЕЙ — ЧЕРТ
СТУДЕНТЫ

*Посвящаю эту сказку
моей светлой жене
Наталье
в день ее рождения
9 февраля 1989 г.*

ПРЕЛЮДИЯ

Когда мерещится чугунная ограда
И пробегающих трамваев огоньки,
И запах листьев из ночного сада,
И темный блеск встревоженной реки,
И теплое, осеннее ненастье
На мостовой, среди искристых камней,
Мне кажется, что нет иного счастья,
Чем помнить Город юности моей.
Мне кажется... Нет, я уверен в этом!
Что тщетны грани верст и грани лет,
Что улица, увенчанная светом
Рождает мой давнишний силуэт.
Что тень моя видна на серых зданьях,
Мой след блестит на искристых камнях.

Как город жив в моих воспоминаньях,
Как тень моя жива в его тенях!

Норильск, 1942, Л. Н. Гумилев

(Забавно, что сюжет исчезающей тени возник у мамы и у меня одновременно и параллельно. Когда мы встретились в 1945 году. Это удивило нас обоих.)

Действие первое

Культурная пивная на канале Грибоедова. Пьеро и Коломбина за столиком.

КОЛОМБИНА: Ну, мне пора домой; уж скоро десять.

ПЬЕРО: Двенадцать, но спешить не надо нам.

Твое пальто на номер мой повесить

Я приказал. И номер не отдам.

КОЛОМБИНА: Но мне пора домой!

ПЬЕРО: Я это знаю.

Он ждет тебя, а лестница темна;

Ночь глубока и серая стена

В лучах луны до неба вырастает.

Не светится закрытое окно,

А шаг его по плитам нервен, гулок,

Тревожит опустелый переулок.

КОЛОМБИНА: Пойдем домой. Так поздно. Так темно.

ПЬЕРО: Сиди, пока, как вечный жид, тоскуют

Трамваи, прорезающие мглу.

Смотри, как нежно тают поцелуи

У пары, притаившейся в углу.

Смотри, как блещут золотом бокалы,

А звуки скрипок в воздухе скользят.

КОЛОМБИНА: Но мне пора домой, я пить устала.

Отдай пальто!

ПЬЕРО Сиди! Идти нельзя.

Смотри, нашли матросы проституток,

А скрипки, как собаки под луной.

Скулят. И пуст бокал.

КОЛОМБИНА: Довольно шуток,

Чего ты хочешь?

ПЬЕРО: Пить; так пей со мной.

КОЛОМБИНА: Ты ревностью бессмысленной и гадкой

Меня заставить хочешь разлюбить.

Тогда его я буду не украдкой,

А явно видеть.

ПЬЕРО: Завтра, может быть?

Ты завтра станешь дивная утрата,

Я захлебнусь среди бездонных дней.
Но я сегодня дерзкий узурпатор
Тебя, вина, и скрипок, и огней.
Куда идти нам: улицы в тумане.
Постель твоя пуста и холодна.
Ты будешь спать, как узница, одна.
Среди пустых, немых воспоминаний.
И только послезавтра некий бред
Тебя, и всю твою постель пронижет.
Убитому тогда ты скажешь: «Нет!»
Живущему: «Придвинься, милый, ближе.»

КОЛОМБИНА: Ты шутишь иль сошел с ума. Теперь
В двадцатом веке нет нигде дуэлей?
И я тебе не верю.

ПЬЕРО: Верь, не верь.
Мы завтра едем в лес для этой цели.

(Подходит мрачный и злой Арлекин.)

КОЛОМБИНА: Вы нас отыскиали. Я рада.

АРЛЕКИН: Я Вашей радостью рад.
Ведь к Вам я, не надо иль надо,
Всегда попадал невпопад.

(к Пьеро) Итак, на Васильевский остров
Опять собираешься ты,
Смотреть как железные ростры
Свои караулят мосты,
Следить за узором надгробий
Невы перепененных вод
И думать, что гнева и скорби
Не скоро настанет черед.

ПЬЕРО: Бродить по пустым тротуарам
К плечу прижимаясь плечом.
Под винным и лунным угаром
Не думать совсем ни о чем...
Взобраться по лестнице гулкой,
Застыть посреди темноты,
И знать, что в пустом переулке
Тоскуешь и бесишься ты.

АРЛЕКИН: Лишь ночь нам осталась до встречи.

ПЬЕРО (усаживая Арлекина):
Но ночь бесконечно длинна!
В мой лучший, в последний мой вечер
Хочу я стихов и вина.
Сегодня, товарищ мой старый,
Мне ссоры искать недосуг.
Так выпьем последнюю чару
За наших прекрасных подруг.

КОЛОМБИНА: Мальчишки! Нелепейший случай!
Погибнуть глупее всего!

АРЛЕКИН: Она нам придумает лучше.

ПЬЕРО: Что скажешь? Мы ждем.

КОЛОМБИНА: Ничего.

(Высвечен другой столик. Профессор и Асмодей.)

ПРОФЕССОР: И все-таки в тебя я не поверю.

АСМОДЕЙ: Ты будешь прав, мой милый, как всегда,
Но я снесу подобную потерю
Без гнева, огорченья и труда.

ПРОФЕССОР: Но мы в тебя не верим.

АСМОДЕЙ: Отрицанья
Я не боюсь. Я ноль, я мгла, я тень,
И что ты продал мне? Свое дыханье
Да будущий проблематичный день.
Ты хочешь славы? Власти! Пьяной влаги?
Или, как Фауст, честного труда?
Тогда тебя устроить можно в лагерь.

ПРОФЕССОР: Работа, власть и слава — ерунда.
Я отдал жизнь для новых поколений,
Я их к наукам вел как старший брат.
Никто моих не слушал наставлений!

АСМОДЕЙ (в сторону):

Бездарен ты. Так кто же виноват!

ПРОФЕССОР: Теперь ищу иного наслажденья:
Хочу в их жизнь влететь как метеор,
Хочу увидеть душ испепеленье;
Тоску в глазах их; в их сердцах позор.
О дай мне это дьявол! Я поверю
Тогда в тебя, мой огненный сатрап.

АСМОДЕЙ: Пожалуйста, не верь, мой верный раб.
Я как-нибудь переживу потерю.
Но к делу, посмотри, за тем столом
Сидят студенты с девушкой красивой.
Что если с них мы опыт наш начнем?

ПРОФЕССОР: Она прекрасна. Взор ее стыдливый
Меня манит. А голос как свирель!
О бес, не обмани меня на деле.

АСМОДЕЙ: Мы приведем, стремясь спокойно к цели,
Юнцов в тюрьму, а девочку в постель.

(Асмодей исчезает. Профессор идет к столу студентов, которые все допили и начинают скучать.)

ПЬЕРО (Арлекину):

Постой, посмотри туда

Профессор подходит к нам.

АРЛЕКИН: Я не питал никогда
Большой любви к дуракам.
О, как он мне надоел
Особенно в прошлый год.

КОЛОМБИНА (возмущенно): Как ты в суждениях смел!

ПЬЕРО: Но прав. Он впрямь идиот.

ПРОФЕССОР (подходя к столу):

Gaudeamus igitur, amici.

Вы словно в Саламанке. От вина

И девушек не отвратили лица.

ПЬЕРО: Но пуст графин, и девушка пьяна.

ПРОФЕССОР: Ну, первой-то беде помочь нетрудно,

Приняв меня в компанию свою.

АРЛЕКИН (на ухо Пьеро): Хотел бы я напиться

беспробудно.

ПЬЕРО (на ухо Арлекину): А я уж, брат, вторые сутки пью.

(Принесли вино, все выпили молча.)

ПРОФЕССОР: Да, в страшные года средневековья

Мы не пили б спокойно, как сейчас.

Тогда был в тюрьмах пол пропитан кровью.

Костер на главной площади не гас.

Но было все гонение бесплодно.

Наш век несет нам свет иного дня.

Вот я... читал вам лекции свободно,

И вы свободно слушали меня.

ПЬЕРО (в сторону):

Попробовали б мы его не слушать.

Наш факультет бы улыбнулся нам.

АРЛЕКИН (в сторону):

На лекциях я прел, зажавши уши,

Зевая и смотря по сторонам.

ПРОФЕССОР: Теперь нет места той наивной вере.

Прочли ль вы в диссертации моей

О вредности старинных суеверий

И о процессе ведьмы Молли Грей?

(Заскучавшие студенты поют песню, нагло уставившись на профессора.)

ПЬЕРО и АРЛЕКИН (поют):

У меня огромный чирей.

Не могу сидеть на парте,

На истмате, на испарте,

На латинском языке.

Доктор, будьте мне родитель,

И меня освободите,

А иначе ведь от скуки

Я подохну в уголке.

Ах, от скуки часто дети

Дохнут в университете,

Не хотите ж вы в ответе

Быть тогда за смерть мою,

Дайте тотчас отпускную,

Чтобы я пошел в пивную,

И чтоб выпил там двойную

Так, как маленькую пью.

ПРОФЕССОР: Тот век был страшен, стал светлее этот.

Как наше время двинулось вперед!

Пример: тогда не цвел марксистский метод,
Теперь цветет.

ПЬЕРО: Я больше не могу! Magister poster!

Здесь не лекторий, здесь не нужен вздор!

Там было на костер попасть не просто,

Не для веселых пьяниц был костер.

И там еретикам была защита:

Их укрывал любой мятежный граф.

И скрежетал зубами инквизитор.

Теперь им нет спасения...

(Разверзается потолок и Асмодей в ужасном облике
хватает Пьеро и Арлекина.)

АСМОДЕЙ: Ты прав!

Спасенья нет вам, грешники. Отсюда

Не вертухаясь, следуйте за мной!

(Уносит их вверх, сквозь потолок.)

ПРОФЕССОР: Незауряден век, в котором чудо
Так запросто случается в пивной.

КОЛОМБИНА (в ужасе):

Они исчезли! Кто их взял? За что?

Где мальчики мои и где пальто?

ПРОФЕССОР: Позвольте мне Вам, милая, помочь.

КОЛОМБИНА (не слушая):

Куда теперь пойду? Глухая ночь,

Разбойниками улицы полны,

Нева бурлит, мосты разведены.

Куда деваться девушке в ночи?

АСМОДЕЙ (в облике официанта): За ужин разрешите
получить.

ПРОФЕССОР: Я заплачу. Когда сведут мосты

И вырвется из темной пустоты

Адмиралтейский шпиль, тогда со мной

Вы тотчас же отправитесь домой.

АСМОДЕЙ (превращенный в официанта):

Коль с ними Вы, то вот пальто для Вас.

Автомобиль Вам подадут сейчас.

КОЛОМБИНА: Профессор, как Вам благодарна я!

ПРОФЕССОР: Пойдемте же.

(в сторону.) Ну, девочка моя.

(Уходят.)

АСМОДЕЙ (сдвигая маску):

Я честный черт. Ах, честность так редка!

Исполнил все капризы старика.

Хотя его паршивая душа

Не стоит даже медного гроша.

М-м-м. Следует пополнить мой улов.
Но парочка захваченных юнцов,
Да девочка, обманутая им —
Все станут достоянием моим.
Тогда б я смело в ад вернуться мог.
Мне Вельзевул навесит орден.
И, может быть, меня, как всем пример,
Отметит сам великий Люцифер.
(Занавес.)

Действие второе

(Квартира Профессора; за окном — ночь; Коломбина сидит на диване, Профессор стоит и смотрит в окно.)

ПРОФЕССОР (в сторону):

Вот кажется сбылось мое желанье,
Но мне она, как будто, не нужна.
Ее волос легко благоуханье,
Ее рука, точеная, нежна.

И гибкая, пушком покрыта шея,
И блещет, как огонь, горячий рот,
Но что же я стою и цепенею?

Она не та, иль я уже не тот?

Мне почему-то странно и неловко.

Я, будто, сам не свой с тех самых пор,

Как заключил я с чертом договор,

А стоит ли кудрявая головка

Моей души? Которой, правда, нет;

В чем тоже я немного неуверен.

Хоть верно то, что черт и души бред...

Иль говорим мы так по крайней мере,

Я был бы все же чрезвычайно рад

У черта душу выменять назад.

КОЛОМБИНА (в сторону):

Зачем он медлит? Может — «я твоя»

Ему шепнуть иль сжать покрепче руки?

(Громко, Профессору)

Профессор, Вы печальны; или я

Нечаянно причина Вашей скуки?

ПРОФЕССОР: Меня гнетет опасность, словно ночь,

И только Вы меня спасти могли бы.

КОЛОМБИНА: Я всей душой готова Вам помочь.

ПРОФЕССОР: О милая, хорошая, спасибо:

Узнайте ж, жаждой знания влеком,

Мне этот мир — как химику реторта,

Я вызвал черта, сидя за столом,

И я себе служить заставил черта.

И стали мне доступны чудеса.
Я стал владыкой этой тьмы безлунной.
Я слышал дивных духов голоса
И их игру на арфе семиструнной.
И я хочу, чтоб Вы за мною вслед
Вступили в мир чарующий и странный.
Прокляв со мной бессмертие и свет,
Ты станешь мне подругою желанной.
Ведь нас с тобой связала та же нить
Как некогда Париса и Елену.

(в сторону)

О, только бы ее уговорить,
А там подсунуть дьяволу в замену.

КОЛОМБИНА

(ничего не поняв, в сторону):

Ну, наконец. Хоть очень мудрено
И даже непонятно объяснение.

(Громко Профессору)

Ах нет, не надо.

ПРОФЕССОР:

Ты мое спасенье!

КОЛОМБИНА:

Ах, нет, другого я люблю давно.

Но я хочу, что б завтра Вы пришли
В мой садик... в тот... с Румянцевской

колонной.

И если там Вы будете влюбленным...

Ну мне пора домой. Мосты свели.

ПРОФЕССОР:

Но Вы?.. Вы соглашаетесь?.. Скажите?

КОЛОМБИНА:

Я с Вами встречусь завтра, милый мой.

Теперь Вы мне десятку одолжите,
Добраться на извозчике домой.

ПРОФЕССОР

(рассерженно):

Да что Вы, милая? В уме ли Вы, мадам?

Откуда взяли Вы, что я Вам денег дам?

Раз даже в бане я купить жалею веник.

Вы денег просите? Нет, я не дам Вам денег!

Как смели Вы, мою признательность приняв,

Возжаждать золота? Вы мой забыли нрав.

Я ненависть теперь лелеять в сердце буду.

Не ждите от меня ни унции добра.

Евреи серебром платили за Иуду,

Я б меди не дал за Петра!

КОЛОМБИНА:

Так я пешком уйду от Вас!

ПРОФЕССОР:

Нет, не уйдете.

Но душу Вы предать готовьтесь сатане.

Пусть сатана ничто, ничто и дух во плоти,

И это то ничто от Вас и нужно мне.

Сейчас придет мой друг, надежный мой

помощник,

Земных неловких душ испытанный ловец.

Мы душу из тебя исторгнем понемножку.

КОЛОМБИНА: Спасите! Я боюсь!

ПРОФЕССОР: А вот он, наконец.

(Возникает Асмодей, одетый изящно.)

АСМОДЕЙ (Коломбине):

Хоть ужас Вам нынче обещан,
Не стоит терять головы,
Ночного пугалища женщин
Во мне не увидите Вы.
Вам страшным меня малевали...
Да сбросьте же с глазок печаль,
И в детстве нам лгут не всегда ли
Мамаши и няни?

КОЛОМБИНА (ободрясь): Едва ль.

АСМОДЕЙ: Оставим на нянек нападки.

Куда занимательней их
Тот мальчик с улыбкою сладкой,
Ваш вечно влюбленный жених.
И друг его, с пристальным взглядом,
Сверкающим странно остро.
Я как-то увидел их рядом;
Точь в точь Арлекин и Пьеро.

КОЛОМБИНА: Так я Коломбина?

АСМОДЕЙ: Конечно.

А вот Панталониус сам.
Поверьте мне: с темой вечной
Не просто разделаться нам.
Не правда ли, Вам надоели
Подобия масок пустых
Бессмысленных?

КОЛОМБИНА: Ах, в самом деле,

Я страшно устала от них.
Тревожат тоской иль насмешкой,
И каждый твердит о своем.
А этот... (машет рукой.)

АСМОДЕЙ: Ну миг я помешкай,
Он стал бы обычным козлом.

КОЛОМБИНА (смеется): Неправда.

АСМОДЕЙ: Так пусть же ошибка
Расширится впредь без границ,
Чтоб только не меркла улыбка
Под черною сетью ресниц.
Чтоб высохла в сердце досада
Для нового в сердце огня,
Для радости новой...

КОЛОМБИНА (размякая):

Не надо,
Ах нет... Пожалейте меня.

АСМОДЕЙ (отходит к Профессору):
Мой милый, не выйдет обмена.
Хоть девушки вашей страны
Немного живее полена,
Но душ, как оно, лишены.
Они для фокстрота, для спорта
Годны, для курортных забав,
Но вовсе не годны для черта,
Магистры полуночных прав.

ПРОФЕССОР: Но в ад не хочу я.

АСМОДЕЙ: Да что ты?

ПРОФЕССОР: Я девку не тронул. Так тронь!

АСМОДЕЙ: Я верю, что нету охоты
Низвергнуться в вечный огонь,
Но договор сам подписал ты.
Не бойся котлов и печей.
Наш ад — лишь подобие Ялты
И только чуть-чуть горячей.
Воспользуйся девочкой лучше,
Раз этому нет помех.
Такой исключительный случай
Зевнуть — непростительный грех.
Не медли же, с помощью беса,
Вступая в когарту повес.
Adieu, мой достойный профессор,
Ловец и сердец, и телес.

(Асмодей исчезает. Пауза.)

КОЛОМБИНА (сухо): Пора домой. Я слышу звон трамвая.

ПРОФЕССОР: Остановитесь! Ночь еще пока
Не кончена.

КОЛОМБИНА: Чего мне ждать? Не знаю.

ПРОФЕССОР: Так знаю я. Хотя заря близка,
Но я утешусь негой сладострастной
Пока сильна моя над Вами власть,
Покуда ночь, чтоб жертвою напрасной
С рассветом в когти дьявола не впасть.

КОЛОМБИНА: Да разве Вы годны для наслажденья?
Смешной старик! У Вас не хватит сил.

ПРОФЕССОР: Иль мало Вам одной беседы с тенью?

КОЛОМБИНА: Он был со мною чрезвычайно мил.
А Вы, напротив, кажетесь зловещим,
Унылым и уродливым вполне.

ПРОФЕССОР: Мне в комнате покорны даже вещи.
Расторгнись мгла! Приди на помощь мне!

КОЛОМБИНА (испуганно):
Я стала жертвой дьявольской измены.
Спасите! Тени лезут из угла.

ПРОФЕССОР: Мне в комнате покорны даже стены.

Расторгнись, ночь! Приди на помощь мгла!
(Из угла вылезают тени, на стенах вспыхивают
разноцветные огни, музыка и балет теней.)

КОЛОМБИНА: Мне страшно! В этих искрах, этих звездах
Такая жуть, что я лишаюсь сил.

ПРОФЕССОР: Мне в комнате покорен даже воздух,
Поющий мне про то, что я любил.

(Коломбина без чувств падает на диван.)
И вот он миг, желанный, долгожданный.

Теперь легко и просто взять ее.
Но почему же умерло так странно
Внезапно — вожделение мое.

Что добыл я? К чему мои усилья
Меня вели? Опять смеется враг.

Обманут я, и распростерли крылья
Тяжелый страх и воспаленный мрак.

(Приоткрывает штору и смотрит в окно.)

Еще рассвета нет. Еще на небе
Звезда голубоватая плывет.

Сам Люцифер об нас там мечет жребий,
Нас Асмодей во мраке ночи ждет.

Под этой голубеющей звездой
Все смертное у дьявола в руках.

В моей душе проходят чередою:

Сомненье, ненависть, надежда, страх.

Я сделал шаг, и нет назад возврата.

Мне страшен ад, но горше всех расплат

Звезды жестокой свет голубоватый

И девушки добытый, но не взятый

Бессмысленно бездушный взгляд.

(Пауза, потом словно решившись.)

Но нет! Покуда я не буду согнут

Лучом еще не начатого дня,

Покуда стены крепости не дрогнут

И те, кто в ней не страшны для меня,

Я не пойду

Гореть в аду!

И Сатану я обману!

(Страшный удар в стену. Стена падает.

Фиксация живой сцены. Занавес.)

Действие третье

(Камера, тусклый свет, Пьеро и Арлекин.)

АРЛЕКИН: Мы здесь одни. С высокого окна

По капельке стекает свет незрячий,

Но мутной тенью камера полна.
Зачем мы здесь? Надолго ль? Вот задача.

ПЬЕРО: Что нас с тобою бросило сюда
От вихря света к этой мутной тени.
Я помню все, что я сказал тогда,
Но никаких не помню преступлений.
Да, демонов Вселенная полна —
Гласят слова великого Фалеса,
И мы с тобою стали жертвой беса.

АРЛЕКИН: Остановись! Не сказка мне нужна.
Я так хочу увидеть лик свободы:
Круженье звезд, неровный бег планет.
Меня томят не сны, а эти своды.
Здесь стены есть, а Асмодея нет.

(За спинами Пьеро и Арлекина возникает
Асмодей в облики узника.)

ПЬЕРО: Не верю я, что в мире есть иное,
Чем сказка, оживляющая дни.
Видения проходят стороною
И гаснут, как залетные огни.
Я вижу след их, огненный, но тленный,
Теряющийся возле Темноты,
И демона, властителя Вселенной,
Мерцающие пурпуром персты.
А наших ближних каменные лица
И лица улиц, в каменной пыли —
Они лишь отблеск искр луча Денницы,
Бессмертного властителя Земли.
И мы, вступая в сонм исчезновений,
Летим туда, где нас поглотит тьма,
Где нас испепелит жестокий гений,
Кому Земля не царство, а тюрьма.

АРЛЕКИН: Не мимо и не прочь бегут виденья,
А день и ночь гостят в душе моей.
Они со мною ждут возникновенья
В ее глазах немеркнущих огней.
Рассказывают мне про шелест платья,
Про узкий след на мокрой мостовой,
Про все, чего не в силах описать я,
Что буду помнить мертвый и живой.
Но между мной и ею эти стены
Стоят, воспоминания гоня.
Я разобью стекло и вскрою вены,
Я больше не могу! Пусты меня!

АСМОДЕЙ (подходит к Арлекину):
Остановитесь, здесь не так уж мрачно.
Я понимаю — охнуть и вздохнуть
На первый раз, но юной жизни путь

Зачем кончать капризом неудачным.
Смотрите на меня: я третий год
Слежу, как солнце по оконной пыли
То снизу вверх, то сверху вниз бредет.

ПЬЕРО: Но мы Вас не видали, где Вы были?

АСМОДЕЙ (Арлекину):

Я не тоскую; жизнь моя полна.
Давлю клопов, укусами язвимый.
Жду ночью утро, днем — ночного сна.

ПЬЕРО: Но все ж, где были Вы, когда пришли мы?

АСМОДЕЙ (Арлекину):

Итак, хоть беспечальна жизнь моя,
Но вижу: Вам тоска не даст покоя.
Вам преподать совет осмелюсь я,
Спасть есть средство, и весьма простое.

Лишь кровью напишите на стене:

«Нам рая и бессмертия не надо».

Я постучу, и дверь откроют мне,

И тесная расступится ограда,

И девушку, и университет

Своими Вы увидите глазами.

Колите палец; вот Вам мой стилет...

ПЬЕРО: Но почему Вы не спаслись сами?

АРЛЕКИН: Зачем писать нам? Нет на нас вины.

Один допрос, и мы вольны как ветер.

АСМОДЕЙ: Вы оба гнусной мерзостью полны.

Про вас ведь говорят на факультете:

«Скажи мне, Фарнабаз, ликиец молчаливый,

Зачем ты сердись нас повадкою кичливой?»

Не скажешь никогда: „товарищи, давай!“,

Как люди говорят, влезаячи в трамвай.

Ругающим тебя не кланяешься низко,

К собраньям и кружкам ты не подходишь

близко.

И, наконец, позор и ужас всем векам,

Ты руку целовал у двух замужних дам.

Подвигнемся, друзья, ужели Фарнабазу

Дадим распространять зловредную заразу?

И нам ли потерпеть, друзья, чтоб между нас

Ходил, смотрел, дышал какой-то Фарнабаз?

Я не сомкну очей, тревожимый мечтами

О том, как мы побьем неверного камнями,

И неужели вам совсем не дорога

Благоуханная столица?

В полярной темноте, когда ревет пурга

Вам будет каждый день опальный город сниться.

В полярной темноте, средь вечной тишины

Вы проклянете миг безумного сомненья,

Несовершенные считая преступленья,
Не зная почему и кем осуждены.
Морщинами в ваш лоб вползут воспоминанья.
Полярный снег у вас застрянет в волосах.
Вам будет каждый день страданьем без
названья...

Но что молчите вы?

ПЬЕРО: На башенных часах

Поет петух.

(Асмодей исчезает.)

И скрылся бес бескрылый.

Ну что ж, теперь ты веришь в духов тьмы?

АРЛЕКИН: Я верю, что пред нами дверь могилы,

И я не верю, что спасемся мы.

(Камеру пронзает луч синего света, и оттуда выходит
девушка с длинной косой, сзади Пьеро и Арлекин;
те оборачиваются.)

ДЕВИЦА: Мальчики, пожалейте меня.

Я в целом мире одна.

Суд ушел, надежду гоня.

Я всю жизнь тосковать должна.

Не откроется эта дверь

Для меня и для вас никогда.

Каждый день мы будем теперь

Вспоминать, да считать года.

АРЛЕКИН (растроганный): Неужель осудили Вас?

ДЕВИЦА: Даже вспомнить еще боюсь.

Но к чему мой страшный рассказ

И моя бездонная грусть.

Ведь даже здесь, в могиле этой,

Мой поцелуй взволнует кровь.

Под этим нежным синим светом

И страсть возникнет и любовь.

(К Арлекину.)

Позабудь жестокою муку.

Положи мне руку на грудь.

Я тебе облегчу разлуку,

Я тебе помогу уснуть.

Только прежде, душою своею

Поклянись мне меня любить.

Поклянись мне, милый, скорее,

Чтоб из уст моих радость пить.

АРЛЕКИН: О, как грудь твоя холодна!

ДЕВИЦА (отпихивая его): Нет, я клятву слышать должна.

ПЬЕРО (обошел Девицу сзади):

Погоди! Зачем не видна

У девицы этой спина?

(Срывает с девицы парик и маску; там Асмодей.)

(Вспышка. Все исчезает.)

АРЛЕКИН: Рот и руки мне обожгла эта огненная струя.
И исчезла в тени угла
Ее коса, как змея.

(Коса уползает во мрак в углу.)

Бес, свободу отняв у нас,
Наши души хочет отнять.
Лучше сдохнуть здесь десять раз,
Чем подобное подписать.

ПЬЕРО: Тяжела и страшно сильна,
Захватившая нас рука.
Наша гибель слишком ясна.
Наша гибель слишком близка.

АРЛЕКИН: Но подумай, какой простор
Развернется там пред тобой.
Потолок в тюрьме — голубой,
Вместо стен — силуэты гор.

ПЬЕРО: Как любить такую страну,
Где у всех мы будем в плену?
У широкой синей реки,
У бессонницы и пурги,
И у сушащей кровь тоски,
От которой в глазах круги.
И у проволоки тугой,
И у низких, чахлых берез.
Бездорожий тундры нагой,
И таежных несчетных верст.
Но бояться этой страны
Мы не станем и в смертный час.
Беспощадный гнев сатаны
Несклоненными встретит нас.

(Яркий свет из боковой стены, выдвинут стол;
за ним Асмодей в форме.)

АСМОДЕЙ: Понятно ль вам какую силой тайной
Владеет тот, кто вас привлек сюда?
Не думайте, что вы в тюрьме случайно.
Нет, вы сидите крепко, господа.
Не стоит здесь показывать отвагу,
Но жизнь спасти еще надежда есть,
Вы эту мне подпишите бумагу.

ПЬЕРО: Но прежде разрешите нам прочесть.

АСМОДЕЙ: Нет, не к чему. Я слова не нарушу
И все скажу, что вы нашли бы там.
Вы мне передаете ваши души,
Я ж, так и быть, дышать позволю вам.
Вас не спасет ни мужество, ни чудо,
Пишите, иль обоих придушу.

ПЬЕРО: Я этого подписывать не буду.

АРЛЕКИН: Умру, но ни за что не подпишу!

АСМОДЕЙ (читает заклинание):

Сорок сов собралися во тьме.
Меркнет тьма под ударами крыл.
Хеляме! Хеляме! Хеляме!
Черный ветер, исполненный сил,
Пронесись, пронесись по тюрьме
Улетающим совам во след.
Намоныйа манги хеляме!
Бафомет! Бафомет! Бафомет!

(Ветер, он треплет студентов, сшибает их с ног, бьет друг
о друга и уходит.)

АРЛЕКИН: Я изнемог. Я больше не могу.

ПЬЕРО: Нет, хуже там в январскую пургу.

АСМОДЕЙ (читает заклинание):

Не свистят, не щебечут птенцы
У железных полуночных птиц.
Их под соснами ждут мертвецы,
Разорвавшие цепи гробниц.
И устами в могильной пыли
Мне лепечут жестокий совет:
Намоныйа манги бурбулин,
Бафомет! Бафомет! Бафомет!

(Выбегают разноцветные чертенята и бьют, кусают,
бодают ребят. Те отбиваются крайне неудачно.
Чертенята уходят.)

АРЛЕКИН: Не выдержать в мучении таком.

ПЬЕРО: Нет, хуже там, в бараке воровском.

АСМОДЕЙ (читает заклинание):

Покатись! Покатись! Покатись!
В мир подземный бездонен поклон.
Опрокинься надзвездная высь!
Пополам расколись небосклон!
Из глубокой подземной воды
Выплывает полуночный свет.
Нере, нере, чулыб чулугды!
Бафомет! Бафомет! Бафомет!

(Происходит нечто ужасное.)

АРЛЕКИН: Мне больно! Больно! Милости прошу!

ПЬЕРО: Начальничек, пусти! Я подпишу!

АСМОДЕЙ (в сторону):

Ну, Вельзевул! Тяжелый сдан экзамен
(обращается к Пьеро и Арлекину.)
Пишите, и немедленно в отъезд.

Держите ручку, вот для вас пергамент...

ПЬЕРО (на момент задумавшись): Неграмотен! И ставлю
крест!

(Стол переворачивается, яркий свет гаснет,

задняя декорация падает, образуя мост к картине
II действия. Асмодей, превратившись в чертенка,
убегает к Профессору; Пьеро — за ним.)

АРЛЕКИН (в публику):

Улепетнул. А он за ним вослед
Бежит. Он черту даст такую таску,
Что тот ее запомнит на сто лет.
А он ведь прав, что жизнью правит сказка!

Действие четвертое

(Комната Профессора, рассвет. Асмодей и Пьеро
взобрались к Профессору.)

ПЬЕРО (Профессору): Я встретил Вас и очень рад!

АСМОДЕЙ (Профессору): Теперь пора спастись в ад.

ПРОФЕССОР (Асмодею):

Беру согласие назад.

Я не пойду, мой страшный брат.

АСМОДЕЙ: Так я ему тебя отдам.

ПЬЕРО: А я, профессор, должен Вам.

Да тебе, исчадьё тьмы.

Теперь долги сквитаем мы.

(Появляется Арлекин.)

ПРОФЕССОР: Он вас сейчас спалит огнем!

ПЬЕРО: Нам ваш огонь нестрашен днем.

АРЛЕКИН: Куда ты девушку девал?

ПРОФЕССОР: Идите прочь, я вас не звал!

ПЬЕРО: Да что там. Хватит слов пустых.

Хватай, дружок, обоих их.

(Гоняется за Профессором и Асмодеем и натывается
на бесчувственную Коломбину. Профессор и Асмодей
подбегают к окну.)

ПРОФЕССОР: Куда бежать? Где скрыться мне?

АСМОДЕЙ: В аду, в немеркнущем огне!

ПРОФЕССОР: Но я боюсь!

АСМОДЕЙ: Нет, ад нас ждет.

И тут расчет, и там расчет.

(Взлетает через окно с Профессором.)

ПЬЕРО (подбегая к окну):

Черт скрывается в облаках

И добычу держит в когтях.

Только тот у черта в руках,

Кто искал опору в чертах.

А вдали, на синей звезде

Светоносный дух Люцифер,

Появляющийся везде,

Проникающий в бездны сфер,

Наконец, увидал предел,
Наконец, услышал ответ.
На Неве, в прозрачной воде
Отражается наш рассвет!

КОЛОМБИНА (Арлекину):
О милый, я верила, я знала,
Что ты не покинешь меня!
Я верно тебя ожидала,
Как первого отцвета дня.
Чтоб впредь не поддаться обману
Поедем, поедем домой.
Я верною спутницей стану
Твоею, возлюбленный мой.

АРЛЕКИН (Коломбине):
Глаза твои, губы и руки,
И голос все больше любя,
Клянусь, что и горшие муки
Я принял бы ради тебя.
Ведь стоила наша разлука
Твоих драгоценнейших слез

КОЛОМБИНА (смущенная):
Довольно, ни слова о муках.
Ведь ты мне спасенье принес.

ПЬЕРО: Как радостно видеть подругу.
С охотою вправду святой
Платить за простую услугу
Бесценной своей красотой.
И ты не отринешь, конечно,
Тебе прилагаемый клад?
Я рад за обоих сердечно.
Я вашей радостью рад (ирония).

АРЛЕКИН: Уходит туман. Побелели
Пустые края облаков —
В лесу, у условленной ели
Я к встрече с тобою готов.
Но странно, ты этою ночью
Нам волю и счастье спас,
А днем ты по-прежнему хочешь
Дразнить и преследовать нас.

КОЛОМБИНА: Ужели простому веселью
Ты в жизни не дашь уголка?
Над скромной девичьей постелью
Ты шутишь опять свысока.
И если ты счастьем обижен,
Ты счастьем чужому не рад.
Ты знаешь, что я ненавижу
Твой странно-прищуренный взгляд,
Твои дерзновенья и силы,

И злые насмешки твои.
Я близкое мне полюбила,
Ужель мне лишиться любви?
(Тихо, на ухо Пьеро.)
Утешься победой иною,
Такой же жестокой и злой:
Оставь его вместе со мною
Ценою свиданья со мной.

ПЬЕРО: Твое одобряю решенье.
Ты славная будешь жена,
Но, знаете, мне в утешение
Ни ночь, ни дуэль не нужна.
Сегодня другими капризами
Направлены мозг и рука.
Смотри, над лепными карнизами
Целуются два голубка,
Туманом расцвечены здания,
И искрится лоно воды,
Все меркнет и меркнет сияние
Предутренней страшной звезды,
С которой наш недруг таинственный
Глядит на беспомощных нас.
И счастлив я в этот единственный
Свободный от призраков час.
Идите! Открытая улица
В немеркнущем нимбе огней,
Улыбками детскими жмурится
Из влажных извилин камней.
Я счастлив, как облако белое,
Плывущее там в вышине.
И больше не чувствую тела я.
Идите, забыв обо мне!

(Коломбина и Арлекин уходят. Пьеро становится спиной к открытому окну.)

Так вот он, мой Город знакомый,
В браслетах лебяжьих мостов,
В вуале туманной истомы,
В венце воспаленных крестов,
И в блеске Невы, окаймленной
Холодной осенней зарей.
А я, бесконечно влюбленный
В твой голос, в твой камень живой,
Вдыхая морских испарений
Пьянящую сердце струю,
В любой голубеющей тени
Дыханье свое узнаю.
В отчетливых абрисах зданий
Узоры мечтаний моих,

Осколки забытых желаний
В граните твоих мостовых.
И я ли осмелюсь не биться
За гордое счастье твое?
Я Дух этой дивной столицы,
А город мой — тело мое.
(Расплывается в пространстве так, что виден только
городской пейзаж в лучах восходящего солнца.)

З а н а в е с

К о н е ц

Андрей Битов

ИЗ ЦИКЛА «БИТВА»

И поэзия приводила их в такое упоение, что они стали усматривать в случайно попавшихся стихах великие приметы будущей судьбы.

Таким образом, действительно, ни философ, ни историограф не могли бы поначалу проникнуть в крепость народных суждений, если бы великая поэзия не распахивала ворота.

*«Защита поэзии», 1580 г.**

1. ОТ А ДО ИЖИЦЫ

Ничего более русского, чем язык, у нас нет. Мы пользуемся им так же естественно, как пьем или дышим. В глубине двадцатого века, в которой мы находимся, слово «пользоваться» становится все более безнравственным, если не преступным. Воздухом равно дышат люди бедные и богатые, разных убеждений, возрастов, национальностей и вероисповеданий. Бесплатность его никогда не обсуждалась до нашего времени. Но и воздух оказался не бесплатен в перспективе. Сознание современного человека трещит, осложненное теперь и экологическими проблемами. Но перестроиться все еще не могут. Воздух, вода, земля... какой бесполезной вещью может оказаться однажды бриллиант!

Язык — тот же океан. Как бы ни были обширны и глубоки и тот, и другой, в них очень трудно добавить хоть каплю, хоть слово. Всего этого столько, сколько есть. Но — не

* Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980, с. 135—136.

больше. Сказать новое слово так трудно, что в чрезвычайную заслугу это ставится недаром. Огромное число понятий в нашем мире не оказались достаточно важными, чтобы получить имя и войти в словарь. Хотя в самой жизни они, немые и безымянные, очерчивают собой сферы и сферочки достаточно отчетливые. Не названные одним словом, они могут быть определены лишь системой других слов. Даже статьи, даже целой книги может оказаться едва достаточно для определения нового понятия. Казалось бы, чрезвычайно неэкономно тратить много слов вместо введения нового, но одного знака, заменяющего, быть может, тонны бумаги. Однако пробиться в словарь — чрезвычайная честь, головокружительная карьера для нового понятия: словарь ревниво охраняет численность своего поголовья.

Это проливает некоторый свет на природу литературы, которая, по сути, является подвижной частью устоявшегося языка, восполняя недостаточность числа словесных символов постоянным формулированием понятий текущей жизни, не оказавшимися настолько старыми или вечными, чтобы попасть в язык. Именно такими новыми, хотя и громоздкими словами являются новые книги и сами писатели: выступает имя собственное, но известное уже всем. Пушкин, Гоголь, Чехов — это уже слова, а не только имена. Им непременно соответствует что-то отчетливое в сознании. Но Пушкин — это еще и целый ряд слов, как-то: «Медный всадник», «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; Гоголь — это множество слов, практически все его персонажи: Ноздрев, Акакий Акакиевич и т. д., даже слово «нос», которое есть в языке, расширено словом «нос», существующим у Гоголя; а Чехов — по сравнению с ними, одно слово «Чехов», безусловно прекрасное, но одно. Чем больше писатель, тем лучше он понимает невероятную заслугу нового слова. Потому что ввести уже не имя собственное, а слово в словарь — заслуга чрезвычайно лестная. Можно умалчивать о достоинствах собственных произведений, но не проговориться гордо насчет того, что именно тебе принадлежит слово «стусеваться», — не удержаться. О Карамзине уже мало что помнят живого, но с помощью восхищенной зависти писателей известно, что ему принадлежат слова «промышленность» и даже «общественность», — заслуга ни с чем не сравнимая! Одно дело, какое значение сыграет то или иное произведение для общества и как будет оценено, другое — что в тайне, по цеховому, даже не всегда в сознании, ценят люди пишущие друг в друге (в живописи и музыке больше так называемой «техники», и профессионалы отчетливее ориентируются в заслугах перед гармонией, композицией или цветом и т. д.); люди пишущие могут ощутить такую же заслугу — в языке, стиле, но не в масштабности и значимости произведения. Хотя, в конеч-

ном счете, справедливость устанавливается, и эти заслуги уравниваются. Но существует слово «Зощенко» и все еще не существует слова «Пришвин». Однако и так, что, как бы ни относиться иной раз плохо к поэту Маяковскому, как ни любить поэта Заболоцкого,— слово «Маяковский» есть, слова «Заболоцкий» нет, как нет, впрочем, и слова «Баратынский». Горький стал словом еще и потому, что с маленькой буквы он тоже слово. Необыкновенный таинственный аппарат признания работает через язык, регулируя численность устоявшегося и подвижного языка с необыкновенной точностью, тонкостью и циничным беспристрастием, принципы которого нам не до конца известны. Каким-то образом именно в живой речи взвешивается масштаб, вес, гений, некая, не смущенная нравственными или вкусовыми оценками, значимость, приводя язык в пропорциональное отношение к живой жизни. Здесь карьеры слов и подвижного запаса имен — абсолютны, как и в жизни. Мертвому слову может быть обеспечено лишь временное официальное положение, но язык неподкупен. Он, правда, может быть засорен и развращен, в него, конечно, насаждается и изгоняется, но эта вода до сих пор способна очищаться, как дышит, хоть и из последних сил, океан, все еще справляясь с мусором человеческим. Он все еще океан, как и язык — все еще язык. Словарь — это справедливый аналог мира, взятого в статистическом сокращении, где слово «добро» и слово «зло» равны друг другу, а почему-то «Бог» и «дьявол» не равны. В слове отнюдь не заключено раскрытие его смысла, в нем лишь координаты в пространстве материи и духа. Идеальная иерархия слов, как определил Л. Толстой,— чудо пушкинского языка. Выдумать слово можно, нельзя выдумать того, что оно обозначит. Как выводит язык эту общую заслугу предмета, понятия или имени, за которую принимает или не принимает в свои ряды, изгоняет или временно отравляется новым словом,— воистину тайна сия велика есть.

Про неисчислимо число капель, составляющих океан, с уверенностью можно сказать лишь одно: что оно конечно, что первая капля будет первой и последняя — последней. Даль — это наш Магеллан, переплывший русский язык от А до Ижицы. И было у него первое слово, которое он записал, и было, оказавшееся последним, предсмертное. Представить себе, что это проделал один человек, невозможно, но только так оно и было. В результате этого подвига мы имеем не только четыре великих тома, не только сам словарь, но и новое осознание языка как не безразмерной вещи, а вполне конкретного, осязаемого организма (живаго...). Даль сумел назвать все известные ему слова одним именем — «Далев словарь» стало новым словом, и обнявшим, и поместившимся в нашем языке и сознании.

И для меня не просто символ, что из писателей пушкинского или послепушкинского поколения у постели умирающего Пушкина находился именно Даль, что именно ему достался простреленный пушкинский сюртук. Если пытаться осознать не только пушкинское наследие, но и пушкинское дело, не только место Пушкина в развитии и смене литературных течений и форм, но и его место в самой русской речи, то не кто иной, как Даль, является его преемником и наследником. И если Даль и не гений, как Пушкин, то Дело его гениально, и трудно даже вообразить, кому вообще оно могло быть по плечу и под силу. Вряд ли и он представлял, постепенно втягиваясь из забавы в коллекционерство, из коллекционерства в собирательство, какую непомерную и ни с кем не разделенную миссию взваливает себе на плечи... Никакое представление о научном подвижничестве с этим весом несравнимо. Вглядитесь в его удивительное лицо, попробуйте выделить главенствующее его выражение: вовсе ничего святого и постного — безумная страсть, бешеный темперамент! — только они могли помочь ему довести подобный труд до конца. Великий, первый наш природоохранник... Как поучительно, что тема охраны природы начинается в России с языка!

Даль — слово. Пришвин и Баратынский — тоже, конечно, слова, но как бы более специальные, не всеобщие. Зато Мятлев — уже и не специальное слово, единичное. Скажем, слово «пар» — всеобщее, «конденсация» — почти уже выбилась из терминов в разговорную речь, а «опара», устарев, стала словом специальным. Круговорот слова в словаре... Сколько испарится, столько выпадет в осадок...

Специалист может иметь перед своими глазами картину мира, совершенно отличную от той, что составлена общепризнанными словами, и ему эта картина будет казаться более истинной, более отражающей. И это скорее всего так и будет. Специалисту будет смешно, отчего слово «синхрофазотрон» более популярно, чем «циклотрон», хотя даже приблизительный смысл обоих слов неспециалисту известен быть не может. Художник может иметь совершенно свою иерархию имен и произведений, в корне не совпадающую с общепринятой, считать ее обывательской и т. д. В конце концов, можно сказать, что истинного значения даже самых важных слов не знает никто, от обывателя до специалиста; такие таинственные, или меняющиеся, или неформулируемые понятия данное слово обнимает или накрывает. Никто толком не скажет, ни что такое красота, ни что такое атом. Для слова в данном случае важно не раскрытие смысла, а определение в пространстве материи или духа. Можно выделяться, кичиться, создавать себе репутацию, хихикать, отделять своих от несвоих, находить себе друзей, подруг, сообщников — все

это от подвижности внутри слова, само слово от наших упражнений окажется неподвижно, что и существенно.

Стать словом невозможно, словом надо быть, и только в таком случае у него есть шанс на возникновение в языке.

Специалисту известны многие слова, неизвестные неспециалисту, и он определяет с их помощью существование еще новых, которые, немые и невидимые, окружают нас в неразъясненной цельности сущего. Специалист делает свою работу. Выдумать слово можно, нельзя выдумать того, что оно обозначит. Значит, чем-то надо быть, чтобы быть названным. Каждый человек, независимо от профессии, еще и специалист в своей жизни. Он накапливает опыт, совпадающий с общеизвестным и принятым, и еще опыт, который можно определить как мучительный, в том смысле, что он не выражен, не определен. Это — есть, знаю где, ощущаю контур, и время, и частоту появления, но не могу описать того характерного признака, который отделил бы «это» от всего другого, и я бы мог продемонстрировать это людям, то есть проверить свою нормальность принадлежностью к ним. Нам надо назвать и вызвать узнавание — единственное подтверждение нашей объективности в определении.

Некое «это» может мучить или не мучить нас, проходя далекой тенью, не признаваемой нами самими за явление нашего опыта. Оно может возникнуть с твердым ощущением, что оно есть, мы станем его узнавать при случае: я видел такие лица, мне известен такой жест, эта линия мне знакома, запах напоминает, слово это я как будто знал, да забыл. Но какое же лицо? что за жест? что обведено линией? что так пахнет? — это может остаться неизвестным. «И не узнаешь никогда» (Л. Добычин). Люди способные могут даже обучиться руководствоваться, использовать этот свой опыт эмпирически: знать, что это лицо ему не нравится и поэтому с ним лучше дела не иметь, не знаясь и т. д. Человек, который научился узнавать явления, не мучась их формулированием и доказательством, будет удивительно умный человек, поражающий нас своей интуицией, фокусник жизни, талант, он может многого достигнуть, многим воспользоваться. У него огромный немой словарный запас, так бы я сказал. Человек же, мучимый выявлением и донесением этих немых слов, — не достигнет и малой толики умного за счет многих и длительных остановок. Однако за умных людей мы почитаем тех, кто нам объяснил свой ум и своим умом объяснил. Тех же, кто им воспользовался, самых умных, мы знаем лишь в случае столкновения с ними, — естественно, тираж мал.

Писатель пишет, то есть тиражирует, то есть долго и немудро топчется на месте, — но это его работа. Употребить определенное количество слов, извлеченных из опыта в истинном

их значении и донести свою систему их сочетания, кажущуюся ему всеобщей, до чужого сознания хотя бы в такой мере, чтобы тот воспринял эту систему как частную,— уже задача огромной трудоемкости и сложности, если бы ее выполняла машина. Ее выполняет человек, не обладающий гипертрофией машины, зато связанный некой пуповиной, нитью, нервом с океаническим организмом языка, который, в случае живости (талант) или разработанности этого нерва (мастерство), работает за него, способствуя автору выполнить хотя бы отчасти по сути невыполнимую задачу. Писатель — это человек, который знает каждое слово, какое пишет (пусть их всего десять...).

Тираж того, что я назвал «новым словом» — будь то действительно уже «одно слово», чему-то в жизни соответствующее, или крылатая и краткая система слов, это «одно слово» заменяющая, или целое сочинение, это новое несуществующее слово окружающее и выражающее, или даже целое творчество, многотомье, однако определяющее собою в целом некую систему, которую можно обозначить именем человека, на которого ведется подписка,— тираж этот, по-видимому, не меньше двух экземпляров, в том смысле, что кто-то один воспринимает выраженное в том же точно значении, какое имел в виду автор. Этот минимальный тираж — доказательство не сумасшествия, не абсурда, потому что два одинаковых сумасшествия встретятся с меньшей вероятностью; чем столкнутся два небесных тела. (Я не имею, естественно, ввиду тот общий тираж непонимания, который достигает иногда грандиозной цифры, когда все, в силу ажиотажа, рекламы, ложной популярности, в силу некой общественной аберрации, не понимают явления в истинном смысле, однако принимая его и признавая.) Число «два» в этом случае часто больше доказательство, чем «миллион». Хотя что-то все равно выражено, отражено и этим «миллионом». (Нынешняя популярность поэтов.)

Так что если тираж «два» необходим и достаточен (он недостаточен для сохранения во времени — «рукописи так сгорают»), то я могу пытаться доказать третьему, что я понял с помощью первого, которого сумел понять. Тут меня могут не понять, хотя я и понял. В какой-то мере я должен провести почти такую же (но нет, конечно, другую! Открытие-то сделал тот, первый!) работу, чтобы доказать третьему, что мы оба не сумасшедшие. Я вступаю в добровольцы разрушения непризнанности первого. Причем не его лично. Его лучше и не знать. Нового слова!

Вот нить бессмертия, за которую ухватился пишущий свое новое слово.

Виктор Соснора

МОРЕ ОТОДВИГАЕТСЯ

1. Черный пёс

Прилежность — залог, и сразу же 2.55 поезд, пошел, справа у окна й. в полоску, пьет из пузатой бутылки (я по губам читаю — коньяк), выпил, вынул газету, головой смотрит, доволен, что один на скамейке, мягкой, вот второй глоток, лицо шафрановое, он еще себя проявит на том свете по движению подземных гор — глазами, сияющими от алкоголизма, так пьют боги гор — озерами из бутылки, серо-пластмассовой. Что люди — кислые слепки с деревьев рода моего.

Гулял под фонарями, и пара юных шла, у него свитер, у нее ноги, они и сливались в одного человека, да и сольются окончательно за душой. Я вчера шел, вдруг бросился вниз (с платформы) черный пес и пошел рядом. Й. с ножом стоит. — Чего тебе? — На губы показывает. — Целовался? — нет. — Немой? — да нет. — Закурить? — нет, а сам ножом сверкает; не сосцы у пса, не сука, а присоски с передатчиками на пузе.

У моря очки черно-светлые, песок иссечен граблями, следы птичьи... будто бы, что я читаю! — страшные руки. С времен морских китайских самовар выбросило, доисторический, с нейтронной боеголовкой, начинка из изумрудов. Шиповник цветет. Цвети, цвети! Проволоку гнут в песках, смотрю на небо, слепну, это сентябрь, рябина братская, что сказать о воде, по ней шли шары, прохладно-шумящие, лисица вдали, добрый знак, будем ее есть с яблоками, обугленная метелка, выброшенная морем, чайка стоит на камне как летящая, старик на велосипеде, руки держит кругами, на ноге надпись «не забуду МВД», на голове ничего, кожа в швах, — вот и описал старика; пес сигналил. Дают блины и лимоны, беременных не пускают, с детьми вышвыривают, боевой день 31 авг., еще кубики из куриц берут ящиками — 60 тыс. штук. Это на 60 тыс. дней супик. А потом инвалиды идут на каких-то пружинах, без башмаков. Уже три раза ходил в магазин

и все выбрасывают то то, то се, близость Коммунизма. Это дует буря в бокал, черный пес ходит, не останавливаясь, и я не останавлиюсь, тело худеет от лет, нужно б купить шлейф, чтоб обернуться шесть раз и лечь в гроб на доски. Нужно кроме того не бегать в бешенстве, а идти у моря, читать иероглифы, это связки у Тех со мной., не понимаю, зачем большие буквы писать, идет время, а маленькие сами нанизывают на себя. Дают сморщенные плоды вместо румяных, много сходных элементов, ноги, руки, стук головы, мне не нравятся жители тождеств, я вижу солнце, свое сходство с ним по внешности, на моей могиле ночь не растет, я думаю о себе физическом: два скрещенных треугольника шестиконечной звезды — высшая похвала углу — костяной покойник; солнце закатывается как лобик узкий, и небо такое красно-синее-красное.

2. Башмак Бога

Море отливалось, отлив достиг 40 м., ничего не выяснишь в буквах песка, потерял дождик на море, много снотворных ем, голова обволакивается, видел девицу в прозрачном мешке от дождя, да, день сбит. Несколько перышек птичьих, ничего нового: выброшен трехгранник без букв, бревно просверлены, теперь это дула для запуска мини-ракет, камень-валун стоит на другом (камне) на одной точке соленых камней, море отошло, и вот то, что скрывало от Тех, а Те за ночь, запуганные, стали писать перышками, срезать бревна, полировать уголь. С испугу схватили Ж. на шоссе и воткнули головой в дюну, это обросло мохом и иглами, двуствольное. По берегу ходят й. с мешками и пишут на песке, о да, смешно, надписи на фоне Тех, кто космо, вчерашние книги стерты, только молниеносные напоминания, у самовара ручки тоненькие, будто люди делали, но стоит взглянуть на металлический рельеф,— нет, он из иных жаровен, а видимое, что камень, гранит с плутонием — у кромки отлившейся, черт бы ее побрал, воды лежит, полулежа — Башмак Его, чье имя не называют, но зачем терять башмаки, имярек, легко ж восстановить твое человекоподобие: длина подошвы 3 м. 9 см., ширина 1 м., плосковата, высота стопы 2 м. 40 см., не такой уж великан, я помню, как Он саданул меня этим башмаком с высот вниз в кровать, чтоб я лежал на земли, но Он так размахнул ногу, что и башмак рухнул в морскую гладь; завтра еще дни, не слишком ли много символов Он выставил мне под нос, я ведь и так помню, друг мой, из драгоценного духа сделанный, в этом месте моря сочтешься ль ты со мной, или шутишь? когда справа локоть к локтю, с камнями,

с плеском, центр уже сместился, у моря лодку надувают гудами, пули кладут под куртку, остыли, сегодня сожжен ч-к, лежит его уголь, тазобедрен. Самовар, брошенный Твоей рукой в меня из космоса лежит, ржавеет, не красят, я пнул, без начинки, не слишком ли интеллектуально? Достоин ли я этих знаков свыше? Мениск моря, зонт черный.

Трехгранник Он держал в руке, на плоскостях вспыхивали три мира, первый — нарисованный, протянутая бумага Галактик, фон; второй — из мыслительных амфибий, желтомутноватый, где живут Те, кто нас начертил и произвел; третий — тут, мы, тутики, здесики. И когда Он повернул наш мир, я сказал: нет, не хочу, лучше из бумаги, со звездочками, но Он отослал сюда, башмак выронил. Я потрогал башмак, твердый, тверже камней (летают, такие мутеррористы). У каждого жука своя струя, иногда Он пальнет ею — и бревно прожжено, вывинчена сердцевина, верх (кожи) обуглен, а из ствола люди летят ввысь, в высоту, как семена, для размножения летят, летят, делегаты.

3. В сауне обед

Море отступает. В 3-ске баня крыта серебром, в сауне парюся без веников, глядя на горячие булыжники. Над мильней высоко построен куб, я заглянул с лесенки: этот куб кипит, а табличка «бассейн, использовать после парилки, купаться в головных уборах». Я надел шляпу. — А как же купаться? — спросил я й., держа шляпу в руках. Он ничего не ответил. Я шляпу положил. В бане пьют боржомом, взвешивая себя на железной пластинке. Пишу ночью, сушатся трусы, ночью собирал сыроежки, они пластиночками видны, тучи чередовались с голубым. Шоссе — магнит, шаги магнитные. У моря какие-то чайки новой породы, корма сильно поднята. Никого у моря, укатили камни, прячут валуны, ручеек журчит, как сталь, белые лодки едут, песок пуст, пляж уехал, сыроежки чернильные, плоды шиповника, персиянок нет, нож летит в пространство, если бросить с моря. Двое идут в воду, регион горя, утыканный по лесам свежими грибами, дождь то пойдет, то отойдет, электрички гудят пронзительно, до визга, ворон кричит, застегнувшись: я — буря, я — буря! Признаков нет.

Электрички в квадратах, в них лица едут, головы как в ящиках, я знаю их пофамильно, они демонтировались, встретившись с моим взглядом, теперь они Там. А я по морю, а оно отодвигается за 1 сутки на 20 м., уже рыбы с илом лежат, как в тарелке, кто ест, я избегаю. Плоды шиповника румяны, живописны. Волны как окна, песок в прибрежной во-

дичке лежит как пшеница, на камнях вода появляется и стекает, кто поработал над морем, выгнул его?

Я обедаю в гробнице за сорока столами из лака, официантки носят мне свеклу, директор гробницы в галстук. Звонкоглазый орел летит, посещает меня у моря, вечером пишу свитки, беру с моря горсть песка, рассыпаю на стол, пишу буквы и песчинки, бросаю, море сверху — это ряды тарелок, на них рыба, над ними л(юди). Безлучевой круг с огоньками, одна пустыня накатывает на другую, обе в штрихах, розовые звезды, масса моря стоит. и дождь, недооцененный.

Я быстро лишился своего времени и поступил жить, горло полощу азотной нефтью, море это черепица, ею покрыта земля, мною могут заниматься одни боговеды, я цельноделанный, дорога из черного вещества, а вообще-то Они в сентябре работают вяло, природу в желтое красят плохо, необычайные морские розы в расцвете, чаши широт выпиты, часто мутации головы принимают за величие.

Вышел к морю, как в зал с лампой на весь мир, луна и быстрое-быстрое волнение дорожки (лунной), набросано камней, огоньки городов горят (вдали), камни стоят и лежат вблизи, башмак Бога перевернут, выброшен спутник в виде самовара из железных рулей сделанный, изобретательно, не успокаиваются с красотой морской. Морской зал с луны, с рядами камней, невымытых. Спутники падали один за другим с железным жужжаньем, откаты воды. Желтеют букеты, солнце в окно ломает мои глаза, бьет во все точки. В бане мочются голыми, без тел. Дюны, длинные до неба, а на них боги качаются, как птички. Боже, не боюсь я, серость, материя, неэмпиричен. Глаза выдают неземное происхождение — у меня, лунатики-невротики спят в волнах, лесо-море, в этом году птиц нет, сожгли их, в голове всхлип их. Всю ночь гайки припаввали, якорь спустили, рококо из метеоритного металла, на море скользящие блюда, навстречу девка-инженер в плавках, не погода для голости, одна мысль у нее — иди следом, следуй, Их ч-к, электросварщица, стали насыпать живых существ (на меня), электросварщица гаек — копия девки очень удачная, у Тех есть смекалка. Видимо я тоже удачно скроенный экземпляр. Есть у Них и дерзость, утром на всех моих рукавах повязки «конец, конец». Ну что ж, ночь.

4. Отлет с космо-Ж

День у деревьев, качает их, крутит, как трубы, еще впечатления: корни мраморные, деревянные листья сексуальные, ель, ольха, рябина, сосновая частота игл — секс, планеты —

тоже актеры, ядовитые птички, ядовитые кошки,—Юлла,—говорю я,— как ты произошла, если была убита? — Мирра,—говорю я,— садись на камень и взлетай на нем.

Читатель сидит над книгой, как над колесом ртутным. Море в маленьких птичках, зеленая жижа, это Те с небес химию льют шприцами, я окунул палец — зеленый, больше ничего не окуну, глаз работает как рот, за ночь Те построили березу и ивы, склонили их в бухту, спрятали на подмостках моторные лодки со стеклом, осенняя несусветица, на конце каменной гряды стоит й., дугой рыбку ловит, небесный человек., я ему крикнул: й, охранник», а он повернул в мою сторону, из ширинки полоснул. Я б эти лодки взорвал, да дождь мешает, й. на ряде легко снять камнем, но... осень пора сворачивать гайки,— я говорю.

Пора, и идут Олга, Нини, Эмма, Лемна, Дмила Лю и др., и др. Я говорю им: пора прощаться с телом. Они ложатся, задрав юбки. — Не то,— говорю я,— чисто женское кокетство,— осматриваю их ноги, гены, кудри,— для плодов да, но не для конца. Я говорю: конец книги, пишем последние слоги, не заголяйтесь, вам придется оставить тело со всеми принадлежностями. Не то, ложатся. Я говорю: не для того я вас возвел, чтоб обнародовать. Они: чего тебе? секс? — нет,— эрос? — нет,— порно? — не надо. — Зачем же ты говоришь? — Это смерть,— говорю я,— оставьте тела и навек вон с земли в те трагические просторы строк, где еще вольно. Кате-Рину я застрелил, Ирру сжал на камне и форштевне, долго давил Фаину и Лолочку, лесбиянок, как виноград, Валентинеане я перерезал горло стеклом, а Тайню послал к й., охраннику, он ее проткнул и принес сюда. Потом мы носили трупы в огонь, что разгорался еще ярче. Обуглив женские тела, сделав из них духовное топливо, мы нагрузили космолодки и дали им (лодкам) дышать. Через 14 дней запустим двигатели. Души девок я положил в карман, и только одну Дмилы Лю я оставил себе до отлета. Золото осыплется и полетит.

Нужно найти черного пса, на днях он лаял, его нужно взять и ножом отрезать от мира. Этих Ж. (см. выше) я по-земному отблагодарил и тут остались пробирки с зародышами, земля не обезлюдует, у мини-эмбрионов уже мои черты тела, они надежно спрятаны в плитах мавзолея. Двадцатый век заканчивается моим племенем (пла?), выйдут полки детей из стекла, 20-ый век закончится падением комутантов. Жалобы лежащих существ, камни на берегу расположены так, что об них бьется голова, разбитые головы там и сям. — Вот я тебе разобью голову,— говорю я охраннику. — Зм, говорит он вместо «гм». Я ему бью голову, остаются волосы, я их сворачиваю в платок, остатки развеваю по воздуху,— охранник кто был баба, гермофродит, недоделок, анти-й.?

Но без головы, 16 тел, скоро лететь с этими ню, будет туго, я предвижу еще женщину рыжеокою, вот она и поможет мне сказать «счастливого плавания».

Ни воды, ни дуды, море обложено камнями, при стекловидных глазах хождение с сжатым сердцем, время, время быстробегущее, как прыгун, утки, такие толстые, татарские,— взмыв, взмах, едут, сидят как кошки они — ночью, бутафорское бытие. Черный пес бежит в валунах, опаленный, якоря ночью поднимут, в песок воткнут печто с гайками, это Он бросил жезл, ударился о каменный сапог (свой!) и разбился, одни осколки, песок в сини, Они льют воду с листьев, булыжник величиною с дом и в нем дверь, здесь привозят Ж, бьют гсловой и засовывают под камень, еще возят, делают им оргазм, а потом сажаят в крашеную лодку, везут в море, море выбрасывает ребра. Каждый год ложится одна Ж. в землю, вглубь, и горит на треугольниках огня в плазме, под каждым камнем зарыта Ж., ищи свое счастье, отрой. Спать нужно б. Печаль, бессмысленные меры наказания богов, незажженный свет и нужно дать руку с надписью «да» или «нет». Чистоводное море.

Владимир Микушевич

КУРЕВО

Падчерица Денницы, в крови кочующая,
В небытии днюющая и ночующая,
Издалека Никонов никотин чующая...

Мыкаются по городу мыши мыслящие; никогда не молятся,
только мылятся; что, мол, мытарства; мы-то мытые!
Над Пилатом, умывающим руки, мытари измываются.

Пилит Пилат пилигримов, пиликающих на молниях.
Фарисейский фарс: окно в Европу, форточка фарцовщика.
Форт Фортуны: магазин магический, где магнитофон для
Марии Магдалины.

Что, Мария, Марево заманчивое! Маринует Марина мухоморы
замоскворецкие. Был в Москве малиновый звон, — малина,
не житье в Москве, — обыскали малину, нашли росинку ма-
ковую.

Магия мака — маниакальный максимум, когда опиум для
народа — запретный плод, а для человечества нет ничего
запретного, кроме человечности.

Чертова челядь, чей червь — чревобесие; чары — чирьи, чу-
до — чад. Чешутся челюсти: чей черед чавкать? Ча, ча, ча!
Чей черед чуметь? Чур, не я!

Как упал ты с неба, Денница, сын Зари? Дева Ева диву
дается: Куда Денница денется? Прометей — не промах, про-
мышляет сотами Сатаны. Змий — бывшая молния, супротив
которой радуга.

Мировая драма — драка драконов из-за драгоценности, о коей
сказано: се Человек; зверь дал нам огонь с небеси, чтобы
прикуруивала дочь удачи, Денницейм удочеренная.

Богу фимиам курит Мать-земля, жимолостью, черемухой, цветом липовым; где луг, там луч, там плуг небесный: сохи-сплохи запахивают запахи.

Мусикия мускуса, соло соли в море-хоре водорослей; на песчаных кручах мелодия медового благоухания — ивовая кора для трубки мира; сущее — воск; существо — воскурение, супротив которого курево.

От чулок до челок прокуренные гурии Велиаровой курии куролесят, антихриста курируя.

По будильнику в будни затягивалась натошак, душе предпочитая душ; дым пускала в зеркало, по последней моде одевалась дымом, и едва просвечивала плотская лжесвеча, пока не оставался к ночи лишь нагар наготы, от которой вздувалась жилистая сигара, сигающая в крашенные губы, чтобы выкуривался дотла очередной образ человеческий.

Падчерица Денницы, в крови кочующая...
Блудная дочь Расеи в мировом пространстве рассеялась бы, когда бы не моя кровь, океан окаянства, в который, однако, Никон не проник.

В небытии днюющая и ночующая...

Для кого небо, для нее небытие без дымовой завесы; дурман — исток истории.

Издалека Никонов никотин чующая...

Искушает меня папистской папироскою, от которой морщатся мощи в морге модернистическом; устрашает меня трубкой петербургского трупа, Россию в трубу пустившего, потешает сигареткой сироты Сирены, чей певчий пепел радеет распаду радиоактивному, а я говорю: «Яко исчезает дым, да исчезнут!». И мы с тобой в нашем скифском скиту, пока скитаются со звездой волхвы некурящие.

РАЙСКИЙ КОРИДОР

Если соборы чутки к чуду, тогда заборы,
В гулкой глуши глухие, чуют разве, что чурки,
Чучела и чурбаны — чур меня чур! — чудовищ,

Чьи чулочные чары чакрами помыкают,
И дощатые волны перед чудо-чулками
Расступились бесшумно, зону заноз разрознив
Коридором, где корчи коренастых кикимор
В кимоно киммерийских забавляют кумиров
Черни; с черепом череп чокается, а между
Шершавых досок, между горбылей щелеватых
Я провожал Надежду, шепчущую «не надо»;
Для надежды надежда — это нож для наживы,
Дева для раздеванья в сумерках и во мраке
Адском, хотя до рая рукою подать; Вера
Мне свернуть не позволит: справа и слева доски
Голые, на которых можно писать иконы,
Но запрещает Софья богомазу соваться
В проходной двор совета с лютым боем и воем,
Сокращенно: с любовью, ибо лишь Бог есть любовь
Брачная в том убранстве, коего нехватает
Хватким доскам и койкам в каютах покаянья,
А дощатые волны сближаются, и, раскинув
Руки, я раздвигаю стенки гроба распятем,
Но все равно мне крышка, хоть она голубая,
И в древесине тонут, если справа и слева
Лишь перегой тухлявый, а впереди лишь встречный
С ножом по мою душу, а позади стан стонов,
Станция, а хороший тон в том, чтобы тонула
Тонкость в томах и тоннах наперекор понтонам
Со спасательным кругом, нет, со знаменьем крестным,
В мире мин и министров, в зауспокойной топи
Там, где чуть ли не чудо: в омуте Танин танец.

АДАМОВ АД

Адамов ад — одиночество, когда полнота бытия требует пола, а ты один в поле и еще не пал; ты полоумный, в бесплезном пылу нарекаешь божье дерево полынью, словно предвкушаешь звезду Полынь, и лень тебе отлынивать, пока не прогоркли воды; кто же твой проводник, если ты праведник? Неужто сей блуждающий светоч в багрянице, за которой тянется лиловая тень? Говорит: «Я венец, я первенец, я Денница, я яство, я явь», а тебе слышится: «Яд, яд, яд!» А эхо ахает: «Ад, ад, ад!»

Кто же твой проводник, если ты праведник?

Зришь сие сущее, тебе присущее, чревом злаки мнущее, устами их же рвущее, заунывно ревущее тело, чей состав —

сплав горних туч и дольных трав; зришь и речешь: се телец!

Зришь сие сущее, тебе присущее, жертв своих пасущее, клыками рвущее, ревностно ревущее чудище, чей состав — зев и лов; зришь и речешь: се лев!

Зришь сие суще, тебе присущее, на себе звезду несущее, гнездо себе вьющее, крылами бьющее диво, чей состав — парение, реяние, ореол; зришь и речешь: се орел!

Зришь сие суще, тебе присущее, на себе звезду несущее, в коем текущее, толкующее и толкущее свет зеркало, чей состав — персть и перстень, запечатлевающий Первенствующего, а начало — чело, и ты бы рек: чело — вещь, но вещь ветшает, лишь вешее вечно; пчела чела зачала веко, и ты рек: се Чело-век!

Знак со знаком знаком, лик без лика не считается, чета с четой сочетается, и четырежды чудо почитается. Разве ты один, если в твари ты один?

Но кто же твой проводник, если ты праведник?

Извивается, как молния, пока молчит, а когда зашипит, виден ядовитый шип, будто вот-вот расцветет роза, но зрима разница: вместо розы заноза, и шип — ошибка; такова польза ползучая, чей состав лукав: чушь в чешуе, чаша чада; советует: «взмой!», а сам предостерегает: «не замай!» Зришь и речешь: се змий!

Кто же твой проводник, если ты праведник?

Хмурится Денница, рычит-речет: «Глянь, как наглеет глина, когда на глину глянec наведешь; молния — молвь, язык — язва, и, нарекая, обрекаешь, будто образ был самому себе в обрез, а теперь оброс лишаями: имя лишнее, имя — лишь ложь, ибо тварь — гарь, вещь — свищ, а предмет — это то, чего нет! Что есть истина? Корчи порчи...»

Кто же твой проводник, если ты праведник?

Спишь, а сам спеешь, и твой плод — костяной плот в хляби твоей крови, где вечная рябь, ибо ты раб и не в бревнах, а в ребрах, оказывается, храм для раба ребра, и твое же ребро — древо чрева перед тобой; рек бы: «ива», а речешь «Ева», три слога проглотив, дабы не изречь до времени: Евангелие.

Кто же твой проводник, если ты праведник?

Древо чрева перешептывается с древом чешуйчатым, и Змий речет: «Зришь сие дерево дерзновения, чей плод — взлет? Вкусив, будете, яко боги. Познай, пока не поздно!» Ева, съев, кобенится, а ты, на юру юродивый, приплясываешь: «Я б ... я б ... яко бог ... я б ... я б ... яблочко...» Надкусываешь, и кажется, каждая твоя мышца — мышь; норовит удрать, разодрать кожу — дрожь раздражающая! Се щетина тщеты — щекотка; ты смешон, ибо состав твой смешанный: Бог и прах! Каждый взгляд злит, тлит, палит! Не поможет

ладанка, когда прикрывается ладонью, а ладу нет как нет, и сам ты срам!

Кто же твой проводник, если ты праведник?

В чашу лезете, а лес — лесь листьев и отравы трав, тене-та тени и проба проблеска, взмах крыла и мох мохнатого лона; не короста, тело — кора, из которой корень выпирает, хоть корят его на пиру природы; но попал он в лунку луны двоящейся, и с двух сторон выросли колонны колен, ограда — отрада единственная, пока ты сам храм!

Кто же твой проводник, если ты праведник?

Говоришь: «родник», а тебе говорят: «блудник!» Говоришь: «Где спаривается, там спорится», а тебе говорят: «пол — полынья, где спорынья», и на костре твоих костей в поту потомков растет погань в погоне за эмбрионами.

Кто же твой проводник, если ты праведник?

Крест — крепость воскресения, чьи лучи — конечности твоей бесконечности, райны райские рай — радиус, ад — радиация ради радости в средоточии.

Кто же твой проводник, если ты праведник?

Он как ты; лишь состав Его — свет, а свет от света и впадает в свет; возвращаешься, когда приобщаешься.

Кто же твой проводник, если ты праведник?

На кресте Он Весь тебе указывает путь к Себе, в рай, в чем казнь Его и восторг; Он каждой костью, каждой жилой, каждой мышцей означает и вмещает все, что было, все, что есть, и все, что будет, ибо на кресте Начало.

Слово — твой проводник, если ты праведник.

Александр Кушнер

ПРУСТ

Жизнь загадочней любого сна: любимый романист
Был похож на продавца ковров, я вычитал, восточных.
Почему ее узор так прихотлив, а мог бы чист
Быть,— не хочет! Любит выгнутость фантазий полуночных.
О, как вежлив был, как ласков, обходителен, речист!
Дам спрашивал про платья: это шелк у вас, батист?
Обладатель вкусов вычурных и, кажется, порочных.
Хорошо! А вот платановый, резной, узорный лист,
Что он, прост? Грубее трещинок ветвистых, потолочных?
Спал я, спал; когда проснулся, день не ясен был, а мглист.
Ах, и Бог, во-первых, все-таки творец, а моралист
Во-вторых... Что туч причудливей, пышнее клумб цветочных?

* * *

Неужто отчество от имени Тигран
Должно быть в паспорте Тигранович? Нелепость.
Страна огромная вобрала много стран.
Прочней всех древностей языковая крепость.

И это странное, не знаю, что: оглы,
Прибавку к имени не впрячь в свои оглобли.
Пасутся лошади, парят в горах орлы,
Сквозят за крышами совсем иные кровли.

Смотри: мы разные. Опасен долгий путь.
Всех, всех любить должна, любого к изголовью
Пускать, усаживать, просить: всё, всё забудь.
Хвалить, привязывать не страхом, а любовью.

* * *

*«От жизни той, что бушевала здесь...»
Ф. Тютчев*

От жизни той, ах, и от этой тоже,
На разные шумящей голоса,

Пугающей, смущающей, по коже
Царапающей, жалящей, то строже,
То мягче говорящей,— полоса
Стеснительная выдалась такая,
Надолго ли? — от гула, что страна,
Трудясь, производить принуждена,
Ворочаясь в снегах и утопая,—
Поэзия останется одна!

И скажем прямо, это ль не удача?
Всех пережить могло бы что-нибудь
И менее заветное... Но плача
И трепеща, на свой переинача
Звучащий лад всю эту тьму и жуть,
Всех, всех речей, всей прозы, всех романов
Прочней под этим небом ледяным,
Всех роковых соблазнов и обманов,
Она одна — подруга тех курганов,
Двух-трех дубов, в стихах воспетых им.

* * *

Две маленьких толпы, две свиты можно встретить,
В тумане различить, за дымкой разглядеть,
Пусть стертые на две трети,
Задымлены, увы... Спасибо и за треть!
Отбиты кое-где рука, одежды складка,
И трещина прошла, и свиток поврежден,
И все-таки томит веселая догадка,
Счастливый снится сон.

В одной толпе — строги и сдержаны движенья,
И струнный инструмент поет, как золотой
Луч, боже мой, хоть раз кто слышал это пенье,
Тот преданно строке внимает стиховой.

В другой толпе — не лавр, а плющ и виноградный
Топорщится листок,
Там флейта и свирель, и смех, и длится жадный
Там прямо на ходу большой, как жизнь, глоток.

Ты знаешь, за какой из них, не рассуждая,
Пошел я, но клянусь! — свидетель был не раз
Тому, как две толпы сходились, золотая
Дрожала пыль у глаз.

И знаю, за какой из них пошел ты, бедный
Приятель давних дней, растаял вдалеке,
Пленительный, бесследный
Проделав шумный путь в помятом пиджаке...

* * *

Иван Александрович, что ж вы, куда вы, зачем?
Вы нравитесь нам, оставайтесь, еще ведь так рано...
Бояться не следует вас,— говорю это всем.
О, только б пехотного вам обыграть капитана!
Ах, я не читаю, а пью эту радость и ем.

Почтамтскую улицу мы не смогли уберечь —
И семьдесят лет по-другому ее называли.
Прости, друг Тряпичкин! И ты не сумеешь извлечь
Из этой истории что-нибудь, кроме печали.
Кому мне сказать, как родная питательна речь?

Письмо не дойдет, распечатано, словно в лото
Играешь: твой номер опущен в мешочек, как в воду.
Я здесь проходил под приземистой аркой раз сто.
У желтого цвета есть то преимущество, что
Он, кажется, солнцем облизан в любую погоду.

«Французский посланник, английский посланник и я...»
Теперь понимаю, как в сущности это невинно.
И если б уехал, то взял бы в чужие края
Не черной землицы: останься, сырая моя,
В траншее,— а фразочки этого сукина сына.

Ах, Марья Антоновна (стул придвигая чуть-чуть),
Зачем же вы свой отодвинули стул? (придвигая
стул.) Как бы платочком желал обнимать вашу грудь
И шейку (целует в плечо ее). — Наглость какая! —
О, мять эту глину, лепить эту радость и гнуть.

Месить, перемалывать, кровью своей разбавлять.
Ты, речь разговорная, слаще всего, развесная,
Как сахар, в какой бакалее насыпят опять
Нам этой муки прилипающей, с верхом, до края?
Прочел, перемазался... милая пыль, благодать!

Боишься? И я отвечаю, подумав: Боюсь.
Мне страшно заглядывать в завтрашний день — и не надо.

Зато я полсцены могу вам прочесть наизусть —
И в ней вся надежда, защита моя и отрада.
И пушкинский помнишь короткий эпиграф: «О Русь!»?

Я СКАЖУ ТЕБЕ, ГДЕ ХОРОШО...

Я скажу тебе, где хорошо: хорошо в Амстердаме.
Цеховые дома его узкие волноподобны.
Я усилие сделал, чтоб вспомнить их: над головами
Их лепные коньки белогривые море способны
Заменить, на картине кипящее в буковой раме
Золоченой,— видения наши горьки и подробны.

Вспомнить что-нибудь трудно, труднее всего — по желанью.
Упирается память: ей, видишь ли, проще в засаде
Поджидать нас, пугая то Вишерой вдруг, то Любанью,—
Почему ее вспомнил сейчас, объясни, бога ради!
Дует ветер с Невы, тополя прижимаются к зданию.
Я скажу тебе, где хорошо: хорошо в Ленинграде.

Я скажу тебе, где хорошо: хорошо, где нас нету.
В Амстердаме поэтому лучше всего: у канала
Мы не бродим, не топчемся, не покупаем газету,
Не стремимся узнать из нее: что бы нас доконало?
Я стоял над водой — все равно что заглядывал в Лету.
В Амстердаме нас нет,— там и горе бы нас не достало.

Я скажу тебе, где хорошо: хорошо, где нам плохо.
Хорошо, где к тебе поднимаясь навстречу с дивана,
Произносят такие слова, как страна и эпоха —
И не стыдно тому, кто их вслух произносит, не странно,
И всерьез отвечая на них, не боишься подвоха,
И болят они, как нанесенная в юности рана.

Владимир Уфлянд

**ОДИН ИЗ ВИТКОВ ИСТОРИИ
ПИТЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

*некоторые особенности независимой питерской поэзии
50—60 годов в соотнесении с собственным опытом*

Допечатный период

Траекторию развития русской литературы, как, впрочем, и любого другого развивающегося во времени явления, имеющего историю, я приспособился представлять в виде огромных размеров диванной пружины. Каждый виток ее соответствует очередному временному промежутку, обновляющему и одновременно повторяющему практику предыдущего. Краткие моменты кажущейся свободы сменяются долгими циклами глухой обороны и подполья.

Оказавшись в свое время на одном из витков этой литературной диванной пружины и волею обстоятельств до сих пор не выпав из этой воображаемой спирали, я мысленно возвращаюсь к тем годам, когда я был в нее вовлечен.

Период независимой питерской литературы или, что мне лучше известно, питерской независимой поэзии от выхода ее в дни хрущевской либерализации на свет до возвращения в тень, в подполье, до развития самиздата недолог, но продуктивен именами и произведениями. Этот период по аналогии с древностью можно назвать допечатным, устным периодом поэзии.

Для меня началом самиздата в сегодняшнем понимании этого термина представляется 59-й год, когда я познакомился с издателем журнала «Синтаксис» Александром Гинзбургом. Разумеется, идея самиздата возникла раньше. Возможно, вместе с возникновением письменности и государства.

Николай Глазков в Москве бесспорно не мне первому показывал свои самсебяиздатовские книжки. Ольга Всеволодовна Ивинская присылала из Москвы машинописный экземпляр «Доктора Живаго». Тоже факт самиздата, если представить, как много было таких машинописных экземпляров.

Но в 1955 году я еще не слышал даже о проектах самиздатовской деятельности. О разделении литературной действительности на первую и вторую, освещенную и тeneвую, речь еще не заходила. Просто предшествующая литература была разделена на куцую разрешенную и необъятную запрещенную. Реестр запрещенной был бесконечен и состоял из библиографических редкостей, ходивших в списках от руки, но далеко не в изобилии.

55-й год взят мной как год, когда сразу много молодых, от 17 до 25 лет литераторов, воодушевленных появлением в печати немногих, выходящих из границ махрового соцреализма вещей, попытались выйти на свет, то есть на подмости литературных собраний, и продемонстрировать существование в молодой литературе более естественных, чем соцреализм, тенденций.

Попытка выйти на подмости

В тот год в Питере одновременно оформились несколько литературных, в основном поэтических, групп. Этому благоприятствовала некоторая неразбериха после чисток в КГБ и частичная потеря бдительности. Слегка ослабел надзор КГБ, комсомола и компартии в высших учебных заведениях.

Тогда я еще не был студентом университета, но по старинной еще школьной дружбе со студентами Михаилом Ереминым и Леонидом Виноградовым оказался посетителем литературного объединения ЛГУ. В объединении я представлял рабочий класс, потому что работал фрезеровщиком на заводе «Арсенал», слегка разминувшись в этом качестве с совсем юным фрезеровщиком того же завода Иосифом Бродским.

С первых же собраний в объединении начались довольно шумные чтения, переходившие в литературную ругань. Власть в объединении пытались держать прилежные ученики его руководителя Леонида Хаустова. Они козыряли именами Твардовского, Симонова, Кедрина, Шубина, Комарова, иногда Лебедева-Кумача и Демьяна Бедного, изредка Есенина и канонического школьного Маяковского.

Сторонники литературного безвластия козыряли именами Пастернака, Хлебникова, Ахматовой. Ссылались и на раннего Маяковского, Тихонова, Сельвинского. Мандельштам, Гумилев, Цветаева, Кузмин, Крученых и тем более Хармс, Введенский, Клюев тогда только-только по разрозненным строчкам стали возникать из пропасти запрещения.

Вопрос о научной классификации возникающей на глазах новой поэзии в зависимости от степени отношения к аван-

гардизму, модернизму, классицизму и т. д. стоял тогда не особенно остро. Враг у всех, и у архаистов, и у новаторов, был один: социалистический реализм.

Из посетителей объединения по старшинству я назову первыми Михаила Красильникова и Юрия Михайлова — героев фельетона в «Комсомольской правде» от 16 декабря 1952 года под названием «Трое с гусиными перьями», несомненных родоначальников нынешнего концептуализма. Свой концептуальный акт они осуществили при жизни Сталина, 1 декабря 1952 года. Это был ехидный суперруссофильский хеппенинг в самый кровавый пик борьбы с космополитами и провозглашения России родиной слонов. В день памяти убитого Сергея Мироновича они явились на лекцию в главной аудитории филологического факультета в косоворотках с гусиными перьями и, распевая «Лучинушку», стали деревянными ложками хлебать принесенную с собой тюрю. Их вместе с третьим участником Эдуардом Кондратовым исключили из университета и комсомола и не посадили, вероятно, потому, что очень кстати отдал концы Сталин.

Красильников и Михайлов пытались увлечь поэтов к возрождению в чистом виде футуризма начала века. Другие, помоложе: Еремин, Виноградов, Сергей Кулле, Лев Лосев, Вадим Нечаев, Рид Грачев, Александр Шарымов — искали исходные литературные позиции в самых разных направлениях.

Сомневаюсь, что в то время можно было достаточно четко определить какие-либо основные признаки питерской литературной школы и ее отличие, скажем, от московской. Разделение той и другой столичной поэзии и прозы на направления в 1955 году также еще не осуществилось.

Питерские литераторы независимого толка объединялись скорее по территориальному принципу. Кроме университетского, особо известными были объединения Горного и Технологического институтов. В Горном я познакомился с В. Британишским, А. Городницким, С. Шульцем, Л. Гладкой, Л. Агеевым, А. Кушнером, Глебом Горбовским, который был таким же студентом Горного института, как я университета. В объединении Технологического громогласно царил Евгений Рейн со своей поэмой о Рембо и тихо, но ярко блистали Анатолий Найман и Дмитрий Бобышев. Все мы часто пересекались на различных литературных сборищах, в широких и узких компаниях.

Пик либерализма, знаменующий начало реакции

Самый большой базар тогда действительно молодых, лет от 18, литераторов состоялся весной 56-го года. Союз писа-

телей устроил конференцию молодых поэтов и писателей где-то через месяц после антисталинского доклада Хрущева. На ней мы все окончательно перезнакомились и перемешались. Кажется, тогда же я начал читать и новую прозу, впервые встретился с С. Вольфом, А. Битовым, В. Марамзиным. Можно сказать, что это был один из редчайших в истории литературы моментов консолидации всех перспективных пиетерских литераторов тех лет. На этой конференции независимая литература взяла верх над молодой порослью соцреалистов, что нашло некоторое отражение в вышедшем в следующем году сборнике участвовавших в конференции поэтов. Однако отсюда же можно начать и отсчет возникновения обратных веяний.

Одновременно с шумной консолидацией началось и тихое размежевание писателей на допускающих компромиссы с подцензурной печатью и тех, кто, в конце концов, окажется в андерграунде.

Одновременно с пиком либерализации в литературе и государстве очевидно началась идеологическая реакция. Эйфория иллюзорной свободы все чаще перемежалась тревожным подозрением, что марксисты-ленинисты еще не собираются отменять за ненужностью 58-ю статью УК.

Уже в мае 56 года в многотиражке Ленинградского университета появился гнусоватый фельетон о поэте Сергее Кулле с перевранными в лучших традициях советской журналистики стихами. Затем грянула оккупация Венгрии. В декабре того же 56-го «Комсомольская правда» разродилась статьей «Что же отстаивают товарищи из Технологического института?» Объектом этого рядового шедевра комсомольской журналистики была институтская стенгазета «Культура» со статьей Е. Рейна о Сезанне и Д. Бобышева об Уфлянде. Впрочем, поскольку упомянутых в статье не посадили, то она только прибавила поименованным популярности.

7 ноября 56-го же года Миша Красильников устроил еще один хеппенинг. На этот раз на Дворцовой площади. Он выдавал лозунги вроде «Да здравствует кровавая клика Тито—Ранковича!» и «Да здравствует Имре Надь!», а демонстрирующая масса автоматически дружно откликалась возгласами «Ура!». Его посадили в воронок и отвезли на Литейный, 4. Это был первый из моих друзей, получивший от хрущевской администрации четыре года лагерей.

Осенью 56 года Родина настойчиво попросила меня исполнить мой священный долг, и я на два года выбыл из непосредственного участия в литературном процессе. Вернулся к началу травли Бориса Леонидовича Пастернака. В подцензурной официальной литературе наступала несомненная реакция. Неофициальная тем временем набирала силу. Начали писать Иосиф Бродский, Александр Кондратов, Яков Гордин,

Виктор Соснора. Возникли связи с москвичами: С. Красовицким, В. Хромовым, С. Чудаковым, И. Холиным, Г. Сапгиром. КГБ начало доставать Алика Гинзбурга за его самиздатовский журнал «Синтаксис». На него и авторов журнала появился донос в «Известиях» под названием «Бездельники карабкаются на Парнас». Борис Леонидович стал несомненным богом независимой литературы, и мы ездили засвидетельствовать ему наше преклонение в Переделкино. Его смерть через год, суд над Аликом Гинзбургом, осуждение Кирилла Успенского на 7 лет по 58 статье для меня служат признаком наступления нового хронологического промежутка.

Начало эпохи самиздата и кочегарок

Стало ясно, что нормальный литературный процесс в России в обозримом будущем невозможен. Надо было искать способы литературного и социального выживания.

Довольно многие из моего поколения нашли возможность более или менее достойного компромисса с подцензурной литературой и даже сумели вступить в Союз писателей. Некоторые работали по своей инженерной специальности, обеспечивая себе хлеб и возможность независимо писать, подобно Е. Рейну, Д. Бобышеву, А. Городницкому и другим. Но были и постоянно появлялись поэты, не имевшие дара обзавестись каким-либо социальным статусом. Идея кочегарки носилась в воздухе. Несомненно наступал кочегарный и самиздатовский период русской культуры.

Перепробовав по несколько работ мы, допустим, с Иосифом Бродским, приходили к заключению, что кочегарка через трое суток на четвертые самый удобный способ избежать тюрьмы за тунеядство и иметь время для литературы. Правда, кочегарки тогда были почти сплошь угольные, без душа, и на лето увольняли. Но было и немало других нищенски оплачиваемых работ, куда можно было быстро устроиться за полным отсутствием конкуренции.

В 1961 году я окончательно расстался с университетом, не совладав с обязательным посещением кафедры марксизма-ленинизма и военной подготовки. На радостях от открывшихся перспектив свободы отрастил бороду, предпринял несколько попыток заработать литературной поденщиной, но вскоре вынужден был вернуться к намертво зафиксированному у меня в паспорте социальному положению рабочего. Правда, оказалось, что в те времена с бородой не брали даже в рабочие. Партия, по-видимому, снова взяла усиленный курс на всеобщую унификацию. Власть во всех сферах безраздельно осталась у КГБ, милиции и народных дружин.

Иногда творческие пути современников в поисках физической работы скрещивались. Год с лишним я задержался в рабочих Эрмитажа, где подобралась прекрасная компания: поэты К. Кузьминский, О. Охупкин, художники М. Шемакин, В. Овчинников, О. Лягачев. В 1964 году рабочие устроили в Растреллиевской галерее Зимнего выставку, где я тоже был представлен в качестве художника. Выставка была закрыта обкомом в тот же день. КГБ арестовал картины. Сняли директора Эрмитажа Артамонова, заменили Пиотровским.

Ося Бродский был уже в ссылке. Вскоре суды над писателями и разгромы выставок стали повседневным явлением. Государство толкало независимых художников в подполье. Возможности эмиграции еще не было.

При этом в те же годы непрерывно обнаруживали себя новые таланты, сформировывались мастера. Выявились достижения неофициальной культуры на уровне, если можно так выразиться, мировых стандартов, не подтвержденные, к счастью, зна́ком советского качества. Определились направления новейшего искусства и литературы. Внутренняя свобода и презрение к догмам обеспечивали широту и разнообразие методов. От возведения метафоры в абсолютный принцип у предшественника нынешних метаметафористов Михаила Еремина до принципа использования наипростейших форм текста для создания мнимодействительности у Сергея Кулле. От аналитической на уровне элементарных структур языка поэзии Александра Кондратова до опытов фразеологической неомагии Бродского и Бобышева. Совершенствовались поэтические методы предыдущих эпох от абсурдизма до примитивизма со всеми переходными промежуточными градациями.

Я уклоняюсь от попытки определить основные признаки питерской поэзии, предоставляя это специалистам. На мой взгляд, питерские школы поэзии слишком разнообразны, чтобы я мог определить их общие очертания.

Необходимым для хронологии этого периода происшествием был вечер молодых литераторов в Доме писателей в феврале 1968 года. Тогда еще не было общества «Память», но уже был патриотический клуб «Россия». На следующий день он во главе с нынешним главным редактором журнала «Ленинградская Панорама» Утехиным донес, куда надо, что сионисты устроили в Доме писателей шабаш. Среди сионистов были Бродский, я, фигурировавший под фамилией Уфленд, а также Глеб Горбовский, Валерий Попов, Татьяна Галушко, Сергей Довлатов и многие другие. Сняли заместителя директора Дома А. Миллера. Правда, вскоре полетел послом в Китай и сам адресат доноса Толстикова, тогдашний областной партайфюрер. Потом была оккупация Чехо-

словакии, высылка Солженицына, ссылка Сахарова, агрессия в Афганистане и так далее.

В начале семидесятых годов можно было подвести некоторые итоги. Кто-то из моего поколения тридцати—сорокалетних бросил поэзию, как Станислав Красовицкий. Кто-то нашел место в официальной культуре, как А. Кушнер, Г. Горбовский, Илья Авербах. Некоторые нашли возможность существовать переводами, драматургией, детской и научно-популярной литературой: А. Кондратов, М. Еремин, Л. Виноградов, Г. Сапгир, Е. Рейн, А. Найман, я сам. Весомая часть: И. Бродский, А. Гинзбург, В. Марамзин, Л. Лосев, С. Довлатов, Д. Бобышев, М. Шемякин, О. Целков, В. Нечаев, К. Кузьминский, Л. Чертков, И. Ефимов, В. Крейд уехали или собирались уезжать. Относительно этой, теперь уже западной, половины моих друзей и знакомых я думаю однозначно: я рад за них. Я рад, что многие из них пользуются всемирной известностью. Лев Лосев, к примеру, стал, по выражению И. Бродского, «событием русской словесности» уже в Штатах в восьмидесятых годах.

И о тех, кто остались, я тоже говорю с радостью. Даже те, кто уже умер: С. Кулле, В. Синакевич, И. Авербах, Б. Вахтин — успели сделать удивительно много.

Не могу говорить от лица следующего поколения, но в моем поколении вряд ли кто-нибудь ставил себе абсолютной целью существование только в подполье и именно во второй культурной действительности. Все искали выхода за пределы самиздата, искали возможности опубликоваться здесь или на Западе без своего вельможи. Кто не имел возможности уехать или не хотел уезжать, конечно, были более осторожны, но редко кто так принципиально и непоколебимо обрывал контакты с официальной литературой, как Сергей Кулле. Он никогда не работал в кочегарке. Его андерграунд был своеобразен. Выпускник филфака, человек уникальных знаний и талантов, он всю жизнь работал в многотиражке, буквально до последнего месяца жизни. Он писал для избранных им самим немногих читателей, саморазвиваясь абсолютно свободно, создал свой собственный мир, свою мнимодействительность, достигнув в этом роде совершенства.

Следующий виток пружины

Весь мой предшествующий положительный и отрицательный опыт убеждает меня в том, что культура, независимо от политических и общественных изменений, должна оставаться независимой и неофициальной, а зависимая, подцензурная и официальная — превратиться в неофициальную или исчез-

нуть. Только тогда повторяющиеся циклы развития русской культуры приобретут новое, здоровое качество. Думаю, что большинство в моем поколении представляют себе будущее культуры примерно так же.

Мне представляется не случайным, что годы рождения моих литературных сверстников укладываются в десяток от 30-го до 40-го года, и в основном сосредоточиваются поблизости от 37-го, трагического для русской культуры. В этом я вижу высший промысел и особый знак судьбы, которая при всех своих поворотах никогда не лишала нас окончательной надежды, подстрекая тем самым дорожить внутренней свободой.

Нисколько не пытаюсь преуменьшить уникальность и значение любого другого поколения, предшествующего или последующего: самиздатовского, кочегарного, культуру рока, новейшую культуру и самую новейшую, входящую в культурный процесс в относительно легкие времена, сознавая всю святость смены поколений и преемственности, я тем не менее оставляю за собой право гордиться принадлежностью к, можно сказать сегодня, уже старшему поколению питерской независимой культуры.

Евгений Рейн

МУРАВЬЕВО

*«Хотите дочь мою просватать Дуню?
А я за то
Кредитными билетами отслюню
Вам тысяч сто;
А вот пока вам мой портрет на память,
Приязни в знак.
Я не успел его еще обрамить,—
Примите так!»*

*А. К. Толстой
«Туда, туда, где апельсины зреют».
И. В. Гете*

На «Жигулях», ведомых женской ручкой,
мы въехали в ночное Муравьево
и осветили фарами снега.
Стоял хозяин дома на пороге
своей избушки в девятнадцать комнат,
был стол накрыт, кипел на кухне чай!
О, этот дом был знаменит изрядно,
его построили в годах пятидесятых
на сталинские премии, к нему
прирезали гектаров десять леса,
два прудика, речушку и запруду,
и окружили каменной стеной,
и заперли калитку на засов,
спустив с цепи кавказскую овчарку.
И вот он был открыт — великий дом!
Его хозяин — подлинный хозяин, —
Лауреат, вельможа и писатель,
годами пребывал в любимой Ялте
с женой, секретарем и кошкой Азой.
А здесь вот в Муравьеве сын его
свой правил бал; а старшая сестра
давным-давно жила в Канаде

с детьми и мужем, критиком кино.
Был стол накрыт, кипел на кухне чай.
Приехало нас трое: Вова Раков,
водительница наша Виолетта
(ошибочка годов тридцатых, ныне
зывается просто Ветой). Но, и я.
Хозяина же звали Александром
по кличке Саня, Саня Шевардин.
Ему пошел двадцать девятый годик,
он выучил пятнадцать языков,
издал ученых книг четыре штуки
и докторскую ересь написал.
(Хотя не защитил еще, а впрочем,
уж верьте — непременно защитит).
Я знал его давно, и был он чем-то
несимпатичен мне и симпатичен;
перемешалось в нем то родовое,
отцовское, с каким-то новым стилем,
уже мне недоступным,— это страшный
провал в десяток лет
меж мной и Саней. А впрочем,
больше я его любил.
Вот мы уселись, выпили чайку
с вареньями такими и сякими,
с цветочным медом, пряником, ватрушкой, —
все было в этом доме, но хозяин
молодой не пил вина, и было поздноваго
его искать в поселке Муравьево,
тем более, что постная девица,
лет двадцати, уродка и очкарик
(она вела Шевардина хозяйство),
нам объяснила, что вина не может
быть в этом доме: Александр не пьет.
Но я-то знал, что это дом особый,
я двадцать лет бывал у них в гостях
и кое-что соображал.
И я предположил: вино лежит
в каком-то тайнике. Но только где?
Тут подали салат и эскалопы,
и экономка вежливо сказала:
«Оставьте эскалоп и две ватрушки,
еще приедет Леночка Кускова».
«Какая еще Леночка Кускова?
А кто она?» — «Она? Она — поэт». —
«А ваше мнение, Александр?» — «Мое?
Она — поэт. Но больше секретарша
моя; обширнейшая переписка,
корреспонденты разных континентов,

архивы, связи, — все это она». —
«А кроме этого?» — «А кроме — так,
студентка на третьем курсе
где-то на вечернем,
и машинистка фирмы «Интурист». —
«Ну, ладно. Бог с ней,
все-таки так поздно. Как доберется?» —
«Ходят электрички до двух часов». —
«А можно ли чаек подраогреть?» —
«Не только можно, нужно».
Я вышел в сад. Под северною чашей
небес, где, как сказал поэт,
нет ничего совсем и не бывает,
стоял прекрасный, строевой, сосновый
японским лаком отливавший лес,
в нем что-то копошилось, верно, белки,
и мартовские звезды крупной солью
рассыпались, и от залива шел
соленый дух Атлантики и жизни.
И где-то пел Высоцкий на магнитке.
И было хорошо. Но где вино?
И тут я увидел — в калитку входит
высокая фигурочка в дубленке
с авоськами и сумками. «Ах, вот,
приехала. Привет тебе, Кускова». —
«А вы тот самый?» — «Да, тот самый я». —
«Хотите выпить?» — «Очень, очень, очень.
Но мы вина, увы, не захватили.
Оно есть в доме? За все ответственность
беру я на себя». — «Не знаю, тут немало
есть секретов Шевардиных.
И я не знаю, где». —
«А есть ли здесь чердак?» — «Чердак?
Конечно. По задней лестнице наверх.
Там будет люк с кольцом. Откиньте и влезайте». —
«Попробую. Идите в дом, Елена.
А то под этим белофинским небом
вы слишком соблазнительны». —
«А вы уж что-то больно скоры на забавы». —
«Ну-ну, идите». И она ушла.
Я люк откинул, снял ботинки, чтобы
меня не услышали те, внизу.
И чиркнул спичкой. Боже! Боже правый!
Какие сундуки, сто чемоданов,
Рояль без ножек, битое трюмо,
Лопаты, грабли, скаты старой «Волги»,
не то, не то, портрет вождя работы
Герасимова, чуть ли не авторское

повторенье, портрет Хрущева —
фото в толстой раме,
портрет какой-то дамы в полушубке,
ушанке со звездой и с автоматом
через плечо — за нею саквояж.
Попробуем — не поддается!
Что ж, подсунем ключ.
И повернем, как фомкой. Ух!
Открывается. Ну, разве я не прав?!
Четырнадцать бутылок «Еревана» —
все это куплено давно, когда бутылка
такого коньяка еще была доступна,
теперь цена ей — сорок пять рублей!
Ну, сколько взять? Четыре для начала.
И я, тихонько на носки ступая,
спускаюсь вниз с бутылками, усердно
держа их за утонченные горла,
и прячу в гардеробе под пальто.
А в комнатах уже неразбериха:
скучает Виолетта, Вова Раков
грызет мизинец — старая привычка
прославленного кинодраматурга,
плейбоя и истерика. Кускова
дожевывает жадно эскалоп,
ватрушки ест и запивает чаем.
Я объясняю им по одному
тихонечко, что нынче происходит.
Выходим погулять. В моей дохе
за пазухой бутылки.
Под муравьевским небом «Ереван»
прекраснее мальвазии Шекспира,
прекраснее бургундского Рабле,
и лучше булгаковской белоголовки.
Он греет, он наяривает в жилах,
и мартовская ночь так широка,
и светят окна шевардинской дачи,
и нам пора обратно. Третий час.
А утром все же утро и работа.
и Ленинград, и множество забот.
Нас четверо: домохозяйка Сани
и сам он не пошли гулять, — они должны
вычитывать всю эту ночь работу:
«Старофранцузский суффикс „эн“,
его значение, закат и возрождение».
И вот четыре допиты бутылки,
за час прогулки мы совсем пьяны.
У Виолетты десять лет роман
с Вовулей Раковым, они ушли вперед

и говорят на собственном наречьи,
запутавшихся старых побратимов,
любви и дружбы,— верно, есть у них
о чем поговорить. А я с Кусковой
целуюсь под ущербною луной на голубой
заснеженной поляне под елями и соснами.
Она так молода, ей двадцать два, мне сорок.
Распахиваю жалкую ее плешивосамодельную дубленку —
целую плечи, шею, грудь, живот
под трикотажной кофточкой. Тепло,
и «Ереван» свое свершает дело, и так
неспешно падает снежок с еловых лап,
и все еще Высоцкий поет, что Лондон,
Вена и Париж открыты, но ему туда не надо.
И я считаю: прав певец, куда, зачем
в такую ночь, когда у нас поля заснеженные
в тихом Муравьеве. Я говорю ей:
«Лена! Десять на даче комнат,
где-нибудь для нас найдется тоже
уголок укромный». — «Нет, не могу!
Не здесь! У нас роман с Шевардиным,
и он меня прогонит». — «Он не узнает,
десять комнат, в них можно затеряться». —
«Не могу!». — «Эй, вы куда пропали?» —
Виолетта аукает, и мы идем домой.
Сияют окна. Александр не спит.
Домохозяйка зверски правит гранки.
Трезвонит телефон. «Алло, Париж?» —
и чешет Александр по-европейски.
Потом он вызывает Монреаль,
потом зачем-то Мюнхен и Варшаву...
Боже, боже мой! Десятка полтора годков назад,
когда студентом, другом той сестры,
что сгинула в Канаде, я ходил
вот в этот дом, когда его хозяин-лауреат
вещал под простоквашу о судьбах той литературы,
где писали Толстой, и Достоевский, и Леонтьев,
когда хозяин этой дачи щедро делился с нами
новостями съездов и пленумов СП...
Да я бы душу отдал Люциферу в заклад
и на пари, что нет, не может быть вот этой
ночи. Пора в постели. Раков с Виолеттой
закрылись на веранде, я иду в пустую
спальню — две таблетки снотворного — не спится.
А телефон Шевардина звонит, звонит, звонит.
И чьи-то беглые шаги по коридору,
я выхожу: Кускова в полосатой пижаме
Александра после ванны идет в постель,

туда к Шевардину. Теперь попалась!...
Опять звонит какой-то Авиньон,
сестра, возможно, это к ней, сюда
на эту дачу двадцать лет назад
приехал я. Теперь и спать охота,
подействовало. Все, конец, провал.

На кухне завтрак. Вова, Виолетта уже
уехали куда-то дальше в Выборг,
средневековый шведский городок.
Сам Шевардин с домохозяйкой будут
спать до двенадцати. Кускова ест
икру, остаток паюсной, засохшей
в старой банке. Я ем сосиски.
Ну, пошли, пошли. На электричке
десять-двадцать в город мы отбываем.
Но пока спешим по вязкому, расслоенному
снегу поселка Муравьево. Облака
расходятся, и свежим солнцем марта
покрыто все. Поселок Муравьево,
едва дымясь, едва перевернувшись
на левый бок, свой начинает день.
И пробегает лыжник в алой форме,
уж слишком как-то профессионально
бежит он — очевидный чемпион.
Куда же он, куда? Дахин, дахин,
Туда, туда, где апельсины зреют.

Валерий Попов

СОН, ПОХОЖИЙ НА ЖИЗНЬ

Я проснулся оттого, что дуло из форточки. Для того, чтобы захлопнуть ее, пришлось подтянуть колени на подоконник. Колени на твердом белом дереве хрустнули, хрустнуло и плечо, растянувшееся кверху. Потом хрустнула и шея: я задрал голову и стал смотреть вверх, в уходящий сквозь тучи колодец, по краям смягченный, размытый голубоватым сиянием серпа, висящего вверху колодца, на страшной высоте, а на самом деле — вдруг почувствовал я — еще намного, намного выше!

Страх, тревога все сильнее наполняли меня, — не зря, не просто так случились эти предутренние гляделки с луной!

Я даже боялся слезать с холодного подоконника, оборачиваться, уже предчувствуя, что увижу сзади. Поэтому я сначала слез, оставаясь лицом к голубому, с потеками, окну, и лишь потом обернулся. Так и есть: конечно, я в старой квартире на Саперном, в своей длинной узкой комнате с белой дверью стенного шкафа в дальнем конце.

Но ведь вроде же я давно уехал отсюда, что-то делал, чего-то добивался — почему же я снова здесь?

Видимо, по законам сна — всегда сон нащупает в твоей жизни, в твоей душе самый темный, самый тревожный участок!

И сейчас — явно уж утро не для ухода в школу (где уютная суета бабушки, родителей?), это явно утро для выхода на работу, в суровую жизнь, где бабушка и родители отсутствуют, ибо уже ничем абсолютно не могут помочь.

Квартира глуха, тиха, и нет ничего страшнее сейчас для меня какого-нибудь раздавшегося в темноте звука — знакомого кашля, бормотания — какой столб эмоций, какой костер сразу взметнется в моей душе... Как?! Что?! И она — здесь? И она — жива? Как же мне, зная ее будущее, встретиться с ней?!

Но квартира тиха, и я судорожно понимаю, что мне нужно побыстрее уйти из нее — нет ничего страшнее путешествий во времени — вперед, а так же — назад... эти встречи с род-

ными людьми, судьбу которых уже знаешь, и смутно чувствуешь, что и твоя будет не лучше... Встречи эти невозможны — скорее уйти!

Но я медлю, а вдруг — увидеть? Ведь не увижу больше нигде и никогда?!

Стоя под форточкой, ледящей загреивок, я чутко, не двигаясь, вслушиваюсь в темноту — давно не было на душе такого подъема, такого ожидания — и страха, что ожидание сбудется... ведь я по короткому скрипу половицы сразу пойму — кто это, и от взрыва чувств потеряю сознание... странно это — терять сознание во сне!

Но тишина, тускло освещенная окнами, длится — и переходит уже в страдание: значит — все, значит — не увижу никого!

Хотя для того, чтобы увидеть всех, достаточно заглянуть в другие комнаты, — их расположение — это, может быть, последнее, что я буду помнить в жизни — открыть со скрипом высокую белую дверь и всунуть голову туда, в темноту, и увидеть... но на это, я твердо знаю, мужества у меня не хватит.

Одежда висит на стуле — да, грустная одежда, грустная жизнь — зачем я снова сюда залетел?! Потому, может, что самые главные волнения моей жизни остались здесь?

От шести лет до тридцати — за эти долгие годы и выясняется, получится твоя жизнь или нет: так что может быть страшней и тревожней?

И, судя по одежде на стуле — одежде неудачника, я попал в самое смутное свое время! Но, может, оно и было самым густым!?

Я стою неподвижно, понимая, что не только встреча в темноте с моими повалит меня, но даже свидание, например, с чайником будет страшным. Сейчас я совершенно не помню его — но вот пройду через нашу темную безоконную, «разводную» комнатку, открою наощупь весьма странно сделанную, но до последней рейки знакомую дверку, и выйду в пустую (надеюсь!) кухню, подвигаю головой, пригляжусь и принохаюсь, и вот увижу чайник, и узнаю его — и немо закричу: это он! Откуда — ведь его давно уже нет на земле?! Немые крики гораздо страшнее, чем громкие, они идут внутрь, в душу, и поэтому сильнее разрушают ее!

Надо выскользнуть незаметно, ничего не видя, не видясь даже с чайником — слишком тяжело... но и уходить тяжело... вернуться ли я сюда, в самое важное для себя место? И если вернуться — это тоже очень страшно: значит — сон этот надолго? ...навсегда?

Я стою, потом медленно начинаю одеваться. Колодец в небе закрывается, становится темнее... сколько же сейчас, интересно, времени? Ведь и во сне должно быть какое-то вре-

мя! — я пытаюсь волнение перевести в раздражение, все-таки раздражение легче переносить... но на кого мне направить это раздражение? Вокруг тишина.

Я чувствую — что раз уж пошла такая гулянка! — мне и дальше предстоит самое тяжелое — приход на неуютную, сиротскую работу, в грустное мрачное учреждение... Вырвался я оттуда, в конце концов, или нет?.. Или это лишь пригрезилось мне? Отсюда, из этой комнаты — ход только туда, других ходов нету (и будут ли они?)

Значит, снова невыносимый день в этом давящем тяжести помещении, бывшей тюрьме?

Но все же, чувствую я — там не такая острота переживаний, как здесь — и я выхожу.

Я проскальзываю сквозь темную маленькую комнатку — полная тьма, но и пригорелые запахи той еды так поднимают мою душу волнением, что она едва ли не покидает тело, забивает горло — все, запахов вполне достаточно — больше я не вынесу ничего. Полностью закрыв все органы чувств, я по счету шагов пересекаю кухню, сопя, нащупываю выходную дверь — нет, ее нету!.. ах — вот же она! И собачка на двери та!

Я с грохотом выскакиваю на лестницу... ну — лестница — это уже полегче, хотя, конечно же — нелегко, нелегко! На какой еще лестнице в мире я был так беззащитен, азартен и глуп, чтобы подниматься не по лестнице, а по обрезкам ступенек, оставшихся за перилами, и так, дыша опасностью, подниматься до чердака, на головокружительную высоту — и так же спускаться? Слабая, незащищенная моя душа витала здесь, и страшно мне встретиться с ней, тогдашней!

И лестницу скорей промелькнуть — конечно, не за перилами, а нормально — уже душили другие тревоги, детские — ни к чему!

Я быстро проскакиваю двор, бегу по пустому, чистому переулку, словно пытаюсь выбежать из этого своего состояния, но оно не отпускает, оно тоже знает улицы... Стоп! Ведь вроде бы я ушел с этих улиц навсегда — почему же снова иду по ним?

Сон это или явь?

Увы, все вокруг абсолютно реально: вот голубь вразвалку перешел лужу и дальше шел, печатая крестики... А вот старинная аптека с огромными стеклами, в которой я впервые в жизни — уже надо было — покупал валидол. Все на месте, никуда не делось, и я никуда не делся — иду, с тоской и отчаянием пытаюсь вспомнить: было ли еще что-то в моей жизни, кроме этого пути?

На площади захлестывает ветер — сразу с двух сторон облетев церковь... все, как обычно, как всегда — а ты чего бы хотел? Всякие там обрывки грез пора отбросить, — день

будет нервный, бесконечный, как и прочие тысячи дней. Надо собраться, слегка одеревянуть, чтобы и сегодня (как и в прошлые долгие дни) не провалиться в яму отчаяния, не взвыть раненым шакалом, а ходить, улыбаться, успевать. Страшно вдруг раскрыть свои чувства — и остальным страшно смотреть на них!

Учреждение светит сизыми длинными лампами, и я уже не один, вокруг, тихо шаркая, движутся призраки, еще не ставшие служащими, не вырвавшиеся из сна.

Гулко хлопает дверь. Знакомый рябой вахтер (которого, впрочем, можно и перепутать!) с неизменной беленькой собачкой — шпичем, свернувшимся у сапог. И — последняя уже отсрочка, последняя свобода — медленный подъем по лестнице на четвертый этаж. И вот — этот страшный темный коридор, страшный сейчас еще и потому, что вдруг как-то сумел внушить мне (именно в эту ночь), что он исчез из моей жизни навсегда, освободил от себя, пореместился лишь в душевные кошмары — и снова вдруг вполне реально всосал меня!

И был бы он хоть бесконечный — бог с ним — так уж бы до конца жизни и шел бы по нему — но он не бесконечный, и путь мой не бесконечный — за круглым коленцем с невысокой приступочкой (переход в другое здание?) надо податься влево и, тяжело вздохнув напоследок, нажать на дверь.

— Здорово! — хрипит сзади знакомый голос, который я столько не слышал (сколько?!), и который нисколько не забыл, увидел, не оборачиваясь, всего.

Да — я снова здесь! От отчаяния перехватило горло, и я не в силах ответить человеку, но и не в силах и не ответить, лишь коротко киваю, и остаюсь стоять перед дверью, в темноте.

Но почему такое страдание здесь?! Обычная контора... И ведь когда-то, не отгуляв даже положенного отпуска после диплома, явился я сюда, в легкомысленном зеленом галстуке на зеленой же рубашке, и благодушно оглядывался вокруг: ну и что, не отгулял отпуска — ведь люди же, всегда сможем договориться!

Но оказалось, что не всегда — оказалось, что все сложнее. В сущности, я тупо надеялся на продолжение легкой студенческой жизни, продолжение лихих разговоров с друзьями-бороданами... но папал в тишину. Вот самый первый миг:

Шеф, маленький, с большой головой и плоским азиатским лицом, с какими-то скомканными служебными бумагами в руках, быстро кивнул мне, не глядя на меня, отрывисто и криво улыбнулся, и сразу же выбежал из комнаты. Я остался торжественно стоять, надеясь, что церемония представления еще не произошла — но оказалось, что она уже позади. Вбежав обратно минут через пятнадцать, шеф очень вежливо, но стремительно отстранил меня с пути, подбежал на своих

коротких, да и к тому же еще согнутых ножках к своему закиданному бумагами столу, схватил какую-то новую бумагу и снова выбежал.

Я еще постоял, как столб, пока не понял, что никакого обстоятельного разговора между нами не будет — почему-то... Почему?

Я со вздохом сел за указанный мне стол, принял от основательной Серафимы Сергеевны увесистый том «Технических условий» и погрузился как бы в их изучение, а на самом деле, в абсолютное изумление.

— Да,— думал я — ну и встреча! И это — первый день, когда хотя бы принято изображать радость и приличия! Что же дальше?!

Дальше, примерно дня через два, выяснилось, что шеф ни минуты не может провести со мной в одном помещении — а столы наши были рядом. Не то что дать задание, ввести в курс — даже просто поговорить! Что за сумасшествие? Такого я раньше не встречал! Как же тут жить — не говоря уже о работе! А ведь по всем законам мне тут быть минимум три года!

В чем дело? Или сам шеф такой псих — или резонирует на волнение, идущее от меня? Но как бы это ни было — жить так невозможно, но никуда мне от этого не деться!

Можно себе представить, с каким страхом я поглядывал на стрелки, и как спринтер на низком старте, напряжинившись, готовился — вот сейчас вбегит шеф, неся ветер, и нужно тут же, не теряя ни мгновения, быстро сказать ему что-то деловое, и умчаться — давая ему время успокоиться, отдышаться и что-то сделать — за то время, пока не появлюсь я! Иногда я не выдерживал, срывался в фальстарт, и тогда мы с шефом встречались где-то на лестнице — он, гоня ветер, мчался кверху, я — вниз. Мы отрывисто улыбались, — и разлетались, как две рехнувшихся перелетных птицы, пересекающих экватор в одно время в противоположных направлениях!

Пот катился с меня ручьем... Значит — три года в таком темпе? Ну-ну.

Но главное — и второй тип из этой комнаты ничуть не более спокоен, чем шеф!

Заместителя шефа, Гаврилова — я тоже не мог поместить ни в какие мне знакомые рамки — и когда рядом с тобой весь день от темноты до темноты беспокойные, непонятные, мечущиеся люди — каждый день, проведенный на работе — мука смертная! Глядя на Гаврилова, я с тоской понимал, что кроме прямых и ясных путей попадают еще и загадочные, извилистые, непонятные, и что искать в жизни ясность и смысл — дело безнадежное, и мука жизни скорее норма, чем исключение.

И главное — непонятно, откуда они берутся! Гаврилов, как я узнал из отрывочных разговоров, родился в семье знаменитого академика, причем всеми любимого. И сын его поначалу учился блестяще, но потом вдруг все сломалось — неужели нескладность жизни — обязательный оброк? Вместо вуза он поступил почему-то в летное училище, летал где-то в неимоверной глуши, потом с диким треском демобилизовался, лет пять вел жизнь абсолютного бича, потом вдруг подался все же в науку — но жизнь вел нелепую, трагическую, душераздирающую — разодранный, грязный приходил он на работу, глаза его были расширены, но мутны, взгляд его был направлен куда-то вдаль... С гримасою отвращения, с отчаянными проклятиями брался он за дела, и при этом — все делал быстро и абсолютно точно... может, из отвращения к делам, чтобы не задерживаться на них?

Короче, неизвестно уж почему, но делал он все блестяще — как, кстати, и шеф — но счастья это почему-то ему не прибавляло, скорей наоборот — словно бы обостряло страдания! Набросав за секунду схему, он с отвращением швырял карандаш... то ли он считал, что способен на большее? То ли считал это большее недостойным себя? Загадка.

Во всяком случае, за короткое время он сделался главным моим страданием в жизни, все предыдущие страдания померкли перед ним. А он меня абсолютно не замечал, смерч, закрученный им, уходил головой куда-то вверх, далеко за облака.

Он не принимал никакого участия в местной жизни — премии, путевки — он посмотрел бы на того непонимающим взглядом, кто бы про это заговорил. И все, кто про это только и говорил, презирали его, и что меня убивало — считали Гаврилова гораздо ниже их, хотя он был, ясное дело, гораздо выше, уходя головой за облака — но они его презирали — вот что сводило меня с ума, делало пребывание в этом доме невыносимым.

И это самодовольное большинство было представлено в нашем помещении весьма основательно, как везде, но средоточием его, центром, точнее всего сказать — пупом, была наша Серафима Сергеевна. Она в жизни ничего не сделала, но это абсолютно не мучило ее, наоборот, почему-то придавало значительности... вот чудо — по сравнению с Гавриловым, который блистательно делал все и отчаянно страдал, и в общественном сознании при этом занимал место несравнимо более низкое, чем она.

Никогда я не думал ранее, что способен так страдать! К тому же вдруг оказалось, что Серафима Сергеевна всюду!

... — Я так и сказала ему — только в кирпичном доме, только в кирпичном! — она с достоинством поднимала голову, все почтительно кивали, впитывая мудрость.

— Ну что, что тут такого, почему непременно в кирпичном?! — с отчаянием восклицал я про себя и выскакивал из комнаты. — Разве жильё среди кирпичей прибавит вам хоть каплю души?!

А Гаврилов по-прежнему был недосыгаем — не то, что он разыгрывал недосыгаемость — его просто тут не было!

Однажды только: я шел по коридору, Гаврилов стоял, абсолютно отрешенно, прижавшись лбом к холодному, черному окну. Я вдруг подошел и, решившись, тоже прижался лбом к стеклу рядом с ним: И мне худо!

Гаврилов увидел меня, мы посмотрели друг на друга и улыгнулись.

И снова исчезли — осталась только Серафима Сергеевна — она и вязала, и приносила байковые подставушки под чайник, казалось, для чего мы и существуем — пить чай!

Естественно, что при первой возможности я срывался и уезжал, куда посылали — но там, куда посылали, жизнь оказывалась уже абсолютно дикой, бессмысленной!

Помню, как мучил меня остряк-самоучка, якобы любимец туристской группы, на рейсе Ленинград—Красноярск! Мучения начались еще до полета, в «накопителе» перед посадкой:

— ...что-то Виктора Палыча к нам не допускают! — раздавался его уверенный в успехе голос. — Видно, вилку проглотил в ресторане, не пускает теперь магнитное кольцо!

...Как только мы поднялись в глухой салон, обтянутый чехлами, как сразу же заплакал ребенок. Стюардесса подвесила ему люльку — и тут же остряк громогласно произнес:

— И мне, пожалуйста, такую же!

Все вокруг довольно устало, и нервно (перед полетом!) посмеивались.

И только мы взлетели, и уши еле-еле стали откупориваться, как тут же в них ввалился знакомый жирный голос:

— Если у кого есть еда, далеко не прячьте — скоро я буду есть!

Закат как-то смешался с рассветом, рассвет опередил ожидание настолько, что все вообще перевернулось внутри!

Потом я катал созревшую голову по сиденью по суровому чехлу на спинке автобуса, ничего уже толком не чувствуя.

Потом очутился в прокуренном номере — окурки росли всюду, как опята — в банках стеклянных, консервных, усевали подоконники, цветочные горшки. И форточки явно никогда не открывались — горький сухой налет образовался во рту. Потом я вдруг проснулся от яркого света — за столиком, продолжая сыпать окурками, сидели два огромных, толстых, потных мужика и что-то яростно чертили на обрывке бумаги.

— А резьбу поверх дадим?.. А блок питания? — донеслись до меня обрывки фраз.

— И ночью работа! — подумал я.

Потом я забылся коротким липким сном и проснулся от того, что какая-то зверюга яростно завывала, комната была освещена ослепительной фарой за окном, а мои сокамерники, что-то жуя, торопливо меня трясли:

— Тебе на стенку ехать? Давай? Матаня пришла!

Путаясь в шмотках, что-то грызя (непонятно как оказавшееся во рту) я мчался, пихаясь в толпе, к так называемой «матане», разглядеть и понять которую было невозможно за яркой фарой, ослепляющей нас. Только мы вскарабкались — на платформу без потолка и стен, как «матаня» тут же с диким завыванием поехала, и тут же все исчезло: мы въехали в длинный глухой тоннель, потом в узкое ущелье — одна уже освещенная елочка светилась наверху, как спиралька, потом вдруг — бескрайний разлет черной воды...

Потом в бетонном помещении я сидел с моими новыми (и как выяснилось, самыми нужными друзьями!) и они терпеливо объясняли мне, что коммутационная стойка, которую наше заведение делало четыре года, никак не komponуется с трансформатором, который она должна обслуживать — «ни что ни на что не налезает, как всегда!» Я был полностью убит: чем же мы тогда занимаемся: ведь было столько соещаний, согласований, остроумных решений!

Отчаяние Гаврилова вдруг стало значительно ближе, понятней мне!

— Ну... так и что же делать? — пробормотал я.

— А что? Да напрямую соединим! — спокойно проговорил наиболее толстый. Они благодушно жевали пышную булку, запивали молочком — для них такое событие не было чем-то сверхординарным, это — их быт! — Напрямую соединим! — еще более добродушно пробасил второй.

Это значило — без стойки вообще!

И вот уже, покончив с обедом и надев страшные респираторы, они долбили отбойными молотками полуметровый бетонный пол — «Нормалек!» — пропускали в дыры просмоленные кабели — минуя хитроумную нашу стойку, находя выход.

— А если надо будет переключать?

— Перекинем концы! — тяжело дыша, они сидели на бетонных обломках, и снова непонятно откуда у них в руках были булка и молоко.

С благодарностью я взирал то на толстого, то на сверхтолстого — так небрежно, с улыбочками, спасли от гибели!

— А чуму свою спрячь подальше, чтоб не видели ее!

Я обиделся, и ими же был и утешаем, они потащили меня по своим друзьям, живущим в вагончиках, и то один, то другой, появлялись с небольшой поленицей бутылок в руках.

Потом — уже не помню как — друзья мои оказались на

буксире метрах в тридцати от берега и простодушно манили меня к себе. Но для того, чтобы оказаться у них, надо было прыгать по зазубренным сваям, торчащим из воды — остаткам какой-то пристани, что ли? Борт был страшно далеко, сваи торчали, как ножи, вода была черная, а берега — в угольных барханах, и все это с нереальной яркостью освещалось с железной мачты.

Наверно, я долечу туда — но это, я чувствовал, только начало, потом мне предстоит лететь и обратно и открывать тяжелую дверь, за которой сидят в волнении Гаврилов и шеф.

Но я ведь избавился от этой двери, долго не видел ее?

Но — ручка та, узнаю смертельный ее холод. Значит, я вернулся сюда?

Ну... открывай. Я надавил на дверь...

Солнечная поляна, обсаженная алыми мальвами... Строем стоят казаки, в белых черкесках.

— Здравия желаем, Ваше благородие! — как только я появился, рывкнули они.

— Тьфу ты, черт... — я радостно засмеялся. — Значит — все-таки сон! Слава богу... Ну — теперь можно и просыпаться...

Николай Якимчук

ИЗ ЖИЗНИ БИЧЕЙ

Бригадир бичей Федор Волоков смотрел в небо. К нему подскочил (с рыжими казацкими усами) Гриня Чапаев.

— Волотыкина бьют,— выдохнул горячий бражный запах, вытаращил глаза.

— Ох ты, ворон, ох ты черный,— спел мягко Федор и отправился вниз с холма по шелковистой, ровно гудящей травке.

— Ну, что,— спросил он лениво, как бы обращаясь к себе, чуть не доходя до жужжащего народца.

— Дак три дни его ж не было,— выдвинулся щуплый провокатор Чунька Оглецов.— Мы ж бичи подряжены. Да кто ж нас...

— Рассказывай, Волотыкин,— Федор сощурил тяжелые шмелиные глаза.— Ответствуй старшому...

— Расскажу как на духу,— Волотыкин торопился быть оправданным,— братцы, век воли... Темнело уже, когда я вдоль бережка прогуливался. Ноги под откос так сами и съехали. Вдруг. Я еще за куст ухватился — ни фига. Под откосом там камешек такой синий и внутри что-то мерцает. И лаз. И будто кто мне шепчет: зайди да зайди. Залезаю — такой же ровный свет, что и на улице. А камень за мной — вжик! — и закрылся. Я назад — руками. Никак. Своды высокие. Иду. Как в сумерках. Вдалеке голоса, приближаются. В руках у всех горящие свечки. Штук десять огонечков. Испугался, к стенке прижался. Там ручей какой-то, ноги замочил. Ни жив, ни мертв. Эти со свечками — ко мне — поют. Женские голоса. Протяжно так, словно сердце высасывают. Идут мимо, будто не замечают. Одна чуть коснулась — одеянием своим. Чую — горячо ноге. Дотронулся — а там брючина прожжена, расползается. Идут и поют — нежно так, пронзительно. Иду за ними — что делать-то? Не стоять же так. Поют они на каком-то странном языке. И словно где-то я уже слышал их — на похоронах или в колыбели. Очнулся я — совсем близко одна из этих колдуний. Глаза ее сверкнули дьявольским огнем, идет прямо на меня. Свеча в правой руке, на отлете. Холод от нее неземной — глыба льда. Поце-

довала в губы — ожгла нестерпимо; разум мой помутился. Оглянулся — никого. Только на их месте колышится такая зеленая орешина. И будто на человека похожа. Вот тело. Вот голова, а вот ветви — руки. И на меня... лицо дерева... Смотрит. Клянусь! Не могу понять как — а смотрит. И знакомое такое лицо! Господи, ощупал свое — да ведь это же я, колючки, родинки мои! Кто ты? — заорал. И вдруг голос — такой тихий, словно дуновение ветра от листьев. Это ты — вот кем должен был быть — зеленой орешинкой. И тогда не мучился бы, а звучал. Разминулся дух твой с Богом, Волотыкин, — такие вот волны ко мне идут. Зеленые, изумрудные. Отпусти меня обратно, — говорю. — Не могу я более тут жить, да и ребята ждут. Не понял ты ничего, — шелест все глуше. — Прощай... И все, братцы, вот на берегу так и очнулся — лежу на сыром песке, волосы вода лижет...

— Пошел вон, — сказал бригадир Волотыкину, — чтоб тебя в бригаде через 10 минут не было. Иначе я за ребят не ручаюсь.

Все заматюкались, загалдели угрожающе...

Вечером, уже в сумерки, бригадир вышел из лагеря в сторону речки. Воздух над водой светился и плакал. Вдруг нога Волокова соскользнула, он скатился вниз. Мерцал голубоватым светом камень. Чернел, притягивал, лаз. Ишь ты, — ухмыльнулся бригадир и полез внутрь. У самого входа, внутри, стоял эсэсовец с короткопалым автоматом. Был он похож на Волокова как две капли воды.

«Хальт», — выкрикнул человек с автоматом и подтолкнул бригадира в глубину пещеры.

Арсений Тарковский

О СТИХАХ В. БЛАЖЕННОГО

Из письма
А. А. Тарковского от
19 апреля 1980 г.

Дорогой Вениамин Михайлович!

Ваши стихи опять потрясли меня, как и при чтении первой посылки. Очень важная для людей книга получилась бы из Ваших стихотворений; несомненно, всеобщее признание стало бы Вашим уделом, но ничто из Ваших стихотворений, несмотря на все старания Гутенберга, света не увидит — пока. Ваша поэзия, настоящая на печали, на немодных идеях, света увидеть не может. Я, вслед за Вами, могу только посетовать на это.

.

К Вашим стихам неприменимы требования, с которыми я воспринимаю чужие стихи, например, — я не люблю неточной рифмы; все мелочи исчезают из глаз (из слуха), остается только существенное, чем живо Ваше творчество — сила Вашего духа (у Вас всегда слабость жизненности оборачивается силой духа, духовности). Очень велика Ваша убежденность. Ваш диктат поэта мощен, подчиняешься ему беспрекословно. У Цветаевой есть статья «Искусство при свете совести». Там приведены (не ее) стихи (несравненно слабейшие, чем Ваши), которые Цветаева превозносит превыше своих, они — свидетельство абсолютной убежденности. А Ваших стихов она, конечно, не знала и знать не могла, но я представляю себе, как бы она говорила и писала о том, что Вами написано!

Для меня — счастье, что Вы нашлись. У меня сохранились Ваши прежние стихи, но конверты с адресом Вашим исчезли: бумаги разбирал не я. Теперь я перепишу Ваш адрес раз пять — во все записные книжки, чтобы его не утратить.

.
Дорогой Вениамин Михайлович, как бы я хотел внушить Вам полную веру в прекрасную силу Вашего дарования, чтобы Вы преодолели силу замкнутого круга своей печали! Я показывал Ваши стихи друзьям, жене. Мы все радовались и восхищались Вами. Пожалуйста, присылайте стихи, я гарантирую Вам 8—10 доброжелательных читателей.

.
Стихи Ваши читаю и перечитываю, давно я уже не радовался ничьим стихам так, как Вашим.

Искренне уважающий и любящий Ваше прекрасное, ни на кого не похожее, дарование. —

А. Тарковский

Вениамин Блаженный

* * *

Ну что тебе стоит вернуться сегодня на землю,
Когда от безжизненной спячки очнулась и муха,
Пройтись по весне, как бродяге и как ротозею,—
Ну что тебе стоит расстаться с загробною мукой?..

Опять на земле появились какие-то твари,
И каждая тварь салютует косматою лапой,
И каждая держит какой-то подземный фонарик,
И каждый зажженный фонарик — шахтерская лампа.

— Встречали ли вы,— говорю им,— в подземном жилище
Тот гроб, где лежит неподвижно великий убогий?..
Он был бесшабашен и был бескорыстен, тот нищий,
И видели все, как с сумою он брел по дороге.

Он так проходил по земле, словно Бог ему душу
Засунул в карман, а карман у бродяги дырявый,
И он прижимал к себе душу, как голубя в стужу,
И он на груди согревал ее мукой кровавой.

...Во сне мне приснилось, что ты захотел возвратиться
На землю — и в яме замешкался лишь на минутку:
Немного опилок, немного могильной землицы
Собрал ты из гроба, отец, на свою самокрутку.

1979

* * *

Помилосердствуй, смерть: цветок сорви на поле,
А хочешь — колосок на хлебной ниве срежь,
Но не ступай с косою по человеческой боли
И сердце не тарань — смертельна эта брешь.

Помилосердствуй, смерть: еще вчера котенок
Молил тебя простить ему невольный грех,
Что так он хочет жить, что он почти ребенок,
Что он среди живых беспомощнее всех.

Помилосердствуй, смерть: довольно тех, кто следом
Ступает за тобой — кто в урне, кто в гробу:
Новорожденный труп вчера был домоседом,
А нынче под землей обрел свою судьбу...

Помилосердствуй, смерть: на лбу моем морщины
И череп без волос, и множество примет,
Что я ни жив, ни мертв — и все же до кончины
Тебе я пригожусь, присяжный твой поэт...

Помилосердствуй, смерть: давай с тобою выйдем,
Как дети на лужок, на звездную межу,
И никого в пути безгрешном не обидим,
И за предел земной тебя я провожу...

1981

* * *

...И тогда от меня отделилась какая-то часть естества
И почистила перышки, прежде чем с телом проститься,
А недужное тело металось в бреду, как листва,
И я понял, что ветку покинула певчая птица.

Это вовсе не страшно: душа все равно будет петь,
Все равно будет клювиком легким лазури касаться,
Только будет она называться синицею впредь,
Или грустною иволгой будет она называться.

А когда она крылышки в синее небо взывает
И опустится вдруг на мои опустевшие руки,
Я пойму, что душа совершила свой певчий полет
И теперь не оставит меня до последней разлуки...

1983

* * *

Никогда не умел я творить над живыми расправу,
Даже мухи несносной святым мне казался удел,
Потому что и муха живет на земле по какому-то праву,
По какому живет беспощадное племя людей.

Потому что и муха живет в этой душевной вселенной
Под безжалостным взором Таинственного Паука,
И слабеет в паучьих тисках ее плач постепенно,
И последнего мига ее настигает тоска...

1983

— Ослик Христов, терпеливый до трепета,
Что ты прядешь беспокойно ушами?
Где та лужайка и синее небо то,
Что по Писанью тебе обещали?..

— Я побреду каменистыми тропами,
В кровь изотру на уступах колени,
Только бы, люди, Христа вы не трогали,
Всадника горестного пожалели...

Кроток мой всадник — и я увезу его
В синие горы, в мираж без возврата,
Чтобы его не настигло безумие,
Ваша его не настигла расплата.

— Ослик Христов, ты ступаешь задумчиво,
Дума твоя — как слеза на реснице,
Что же тебя на дороге измучило,
Сон ли тебе окровавленный снится?..

— Люди, молю: не губите Спасителя,
На душу грех не берите вселенский,
Лучше меня, образину, распните вы,
Ревом потешу я вас деревенским.

Лучше меня вы оплуйте, замучайте,
Лучше казните публично осла вы,
Я посмеюсь над своей невезучестью,
Пастью оскаленной, пастью кровавой...

— Господи, вот я, ослино-выносливый,
И терпеливый, и вечно — усталый,—
Скольмо я лет твоим маленьким осликом
Перемогаюсь, ступая по скалам?..

Вysłушай, Господи, просьбу ослиную:
Езди на мне до скончания века,
И не побрезгай покорной скотиною
В образе праведного человека.

Сердце мое безгранично доверчиво,
Вот отчего мне порою так слепо
Хочется корма нездешнего вечности,
Хочется хлеба и хочется неба.

* * *

Не говорите обо мне живом.
Уже я где-то в вечности, вдали,
Уже я посетил тот скорбный дом,
Чей вход задернут пологом земли...

Я видел то, что недоступно вам,
Стоял один у роковой черты,
За мною по пятам брела молва
Загробной исполинской немоты.

И я теперь не человек, а тлен,
И я забыл свое земное «я»,
И я тягчайшим бременем согбен,
Вселенским бременем небытия.

1984

* * *

«Меня Распутиным назвали...»
Н. Клюев

Напоил меня Бог первозданною горькой отравой,
Шуганул по российской земле, как постылого пса,
И пошла обо мне нехорошая стыдная слава:
Я де то, я де се, я де сам, я де вовсе не сам.

Я де шут, я де плут, я де, может, расстрига-Распутин,
От меня де разит мужиковским рядом за версту...
...Ну какой же я к бесу Распутин, когда я на прутик
Посадил муравья и молился лесному Христу?

Словно стрелы татар, обложила орда недоверья
(Я де то, я де се); а какой в этом нищему толк?
Завалюсь в темноту, как пристало бездомному зверю,
Может, долей моей не побрезгает сумрачный волк.

Может, боли мои лекариха залижет лисица...
В рыжеватый бочок от обиды запрячу лицо.
Буду спать да сопеть, будет сон мне диковинный сниться,
Как двуногие звери меня окружают кольцом.

Хорошо просыпаться и ночь неподвижно слушать...
Хорошо свою нору хвостом оградить от потерь...
Хорошо на покое, как лапу, лизать свою душу...
...Вот и нет меня больше — теперь я беспрозванный зверь.

1973

* * *

Это ложь, что Господь не допустит к Престолу собаку,—
Он допустит собаку и даже прогонит апостола:
— Надоед ты мне, лысый, со всею своею ватагой,
Убери свою бороду, место наследует пес твое...

Ох, хитер ты, мужик, присоседился к Богу издревле,
Раскорячил ступни да храпишь на целительном воздухе,
А апостол Полкан исходил все на свете деревни,
След выискивал мой и не мыслил, усталый, об отдыхе.

А апостол Полкан не щадил для святыни усилий,
На пригорке сидел да выщелкивал войско блошиное,
А его в деревнях и камнями и палками били —
Был побит мой апостол неверующими мужчинами...

А апостол Полкан и по зною скитался, и в стужу,
И его кипятком обварила старуха за банею,
И когда он, скуля, матерился и в бога, и в душу,—
Он на матерный лай все собачьи имел основания...

Подойди-ка, Полкан, вон как шерсть извалялась на псине,
Не побрезгай моею небесно-крестьянскою хатою,
Рад и вправду я, Бог, не людской, а собачьей святыне,
Даже пахнет по-свойски — родное, блажное, лохматое...

1980

* * *

Еще я ребенком играю с домашнею кошкой,
Она добродушна и даже похожа на маму,
Еще я не знаю, что время стоит за окошком,
Что заступом роет оно неприметную яму.

И мама моя упадет в эту яму со вздохом —
Она-то ведь знала, какая тут кроется тайна,
И я собирать буду мертвую маму по крохам,
И вдруг я живую увижу ее неслучайно.

И это не вымысел даже и не сновиденье,
Она не из гроба, она не у грязной лохани,
Она, как комета, со мною идет на сближение,
И вот я сгораю в ее неприметном дыханьи...

Ведь «мать» — это слово, невысказанное в разговоре;
Мы все сиротеем и все постигаем с годами,

Что матерью мы называли и радость и горе,
И все, что на свете и было, и не было с нами...

1981

* * *

Я не себя во сне увидел мертвым —
Котенка бездыханного, но был
Он как бы всею мертвою когортой.
Неумолимых выходцев могил.

Как будто это маленькое тело,
Которого коснулся вечный сон,
Всю муку неприютного удела
Явило мне из пропасти времен.

Как будто этот призрачный котенок
Меня к загробным трепетным слезам
Скитальческой мукою христовой
Словно к высокой мачте привязал...

...Куда же поплыву я за тобою,
Какую исповедую звезду,
Я, все еще бичуемый судьбою,
Умерший в незапамятном году?

Кто руку мне подаст на переправе,
Ведь одному мне не поднять тот гроб,
Где спит мое предвечное бесславье,
И нежностью увенчан бледный лоб.

Или и впрямь букашки, кошки, мухи,
Все малые на свете существа
Меня передадут в христовы руки
Под горестные крики торжества,—

Чтобы, вселенной тягостный свидетель,
Остался я и в смерти тем, кем был.
И радовались мертвые, как дети,
Что никого я в мире не забыл.

Ведь я затем и говорил стихами,
Что от прикосновения стиха
Порою рушился могильный камень,
Выглядывали лики и века.

И я клянусь, что все земные твари,
Свое бывшее время возлюбя,

Воскреснут, даже в смерти не состарюсь:
Им никуда не деться от себя...

1982

* * *

Над нищей участью твоей
Вставали звезды по тревоге,
И плыло солнце на дороге
Над нищей участью твоей.

Верста дорожная версте
О вечном нищем говорила,
И было имя Михаила
На каждом стоге и кусте.

И это имя — по ночам
Произносилось даже Богом,
Покамест нищий спал под стогом —
И ничего не замечал...

И птичья плавала молва
О том блаженном, кто для птицы
Берег и кроткие слова,
И малых зернышек крупичицы.

О том блаженном, кто и тли
В земной дороге не обидел
И на земной дороге видел
Иной пришествие Земли.

Земли, где ангел говорил
Устами вечности с народом,
И где все тем же нищесбродом
Бродил счастливый Михаил.

1975

* * *

ГОГОЛЬ

Дм. Мережковскому

Что за страшная ночь: мертвяки да рогатые черти...
Зашвырнут на рога да и в ад напрямиком понесут...

Ох, и прав был монах — приучить себя надобно к смерти...
Переполнила скверна земная скудельный сосуд...

Третьи сутки во рту ни зерна, ни росинки; однако,
Был великий соблазн, аж колючий по телу озноб...
Предлагал чернослив сатана, искуситель, собака!..
Да еще уверял, что знакомый приходский де поп!..

Я попа-то приходского помню, каков он мужчина,
Убелен сединою, неспешен, хотя и не стар...
А у этого — вон: загорелась от гнева личина,
Изо рта повалил в потолок желтопламенный пар.

А потом обернулся в лохматого пса и залаял!
Я стоял на коленях, крестился резвей и резвей:
— Упаси мя, Господь, от соблазна, раба Николая!..
— Сбереги мою душу, отец мой духовный, Матвей!..

...А когда прохрипели часы окаянные полночь,
Накренился вдруг пол и поплыл на манер корабля,
Завопила вокруг ненасытная адская сволочь,
Стало небо пылать, зашаталась твердыня-земля.

Я стоял, как философ Хома: ни живой и ни мертвый...
Ну как веки поднимет и взором пронзит меня Вий?..
А потом поглядел в потолок: чьи-то руки простерты,
Чьи-то длани сошли, оградили в господней любви...

Третьи сутки пощусь... Третьи сутки во рту ни росинки...
Почему мне под утро пригрезилась старая мать?..
Помолись обо мне, не жалея материнской слезинки...
Сочинял твой сынок, сочинял, да и спятил с ума...

1972

БЛАЖЕННЫЙ

Как мужик с топором, побреду я по Божьему небу.
А зачем мне топор? А затем, чтобы бес не упер.
Благодати моей — Сатане-куманьку на потребу...
Вот зачем мужику, вот зачем, старику, мне топор!

Поберется бочком да состроит умильную рожу:
Я-де тоже святой, я-де тоже добра захотел...
Вот тогда-то его я топориком и огорошу —
По мужицкой своей, по святейшей своей простоте.

Не добра ты хотел, а вселенского скотского блуда,
Чтоб смердел Сатана, чтобы имя свяtilось его,
Чтоб казался Христом казначей сатанинский — Иуда,
Чтобы рыжих Иуд разнесла сатанинская вонь...

А еще ты хотел сотворить непотребное действо,
Чтобы в облике мерзком двуполого зверя предстать,
Чтоб Христовы невесты стыдились сокрытого девства,
Чтобы дева-Мария стыдилась рожденья Христа...

А еще ты хотел, чтобы кланялись все понемногу
Незаметно, тишком — куманьку твоему Сатане,
И уж так получалось, что молишься Господу-Богу,
А на деле — псалом запеваешь распутной жене...

Сокрушу тебя враз, изрублю топором, укокошу,
Чтобы в ад ты исчез да в аду по старинке издох,
Чтобы дух-искуситель Христовых небес не тревожил,—
Коли бес, так уж бес, коли Бог — так воистину Бог...

1972

* * *

Не оттолкни меня в последний миг,
Кто б ни был ты — Господь или разбойник,
Я плачу, я к груди твоей приник,
Я прячу голову в твои ладони.

Не оттолкни меня, хочу с тобой
Пройти весь путь последний до предела,
Еще со мной тоска моя и боль,
Еще меня мое пытается тело.

Еще пытается тело, как палач,
Орудиями пыточными плоти,
А палача не растревожит плач,
Плач — то, что нужно при его работе.

В последний миг — Христос поколебал
Души своей незыблемую твердость
И пот рукою вытирал со лба:
Нет, нелегко ступать в обитель мертвых!..

Кто б ни был ты — мой друг или мой враг
(Сейчас не время говорить об этом),—
Я на тебя равняю смертный шаг
И исповедуюсь пред целым светом.

В последний миг меня не оттолкни;
Я не один — за мною, как собаки,
Хромают искалеченные дни,
Им тоже страшно, в непроглядном мраке.

1980

БЛАЖЕННЫЙ

Боль выматывает понемногу —
Не мужчиною в полном соку,—
Стариком неприкаянным к Богу
Дотащу свою душу-тоску...

Дотащу ее скудными днями
По сермяжной дороге скорбей,
По проезжей и по глухомани —
Дотащу, как суму, на себе...

«Помогите, родимые, что ли...»
Но родимые — ушлый народ —
Добавляли в суму мою боли
И чужих добавляли невзгод.

Кто-то выплюнул в душу окурок,
Кто-то выматерил ходока...
Старика с неказистой фигурой
Заприметит собачья тоска.

Я и пес — мы на божьем пороге
Поджигаем от страха зады...
Принесли мы с собою дороги
И осколок попутной звезды.

Вот мы, Господи, в муке исподней,
Не гони нас ни в ад ты, ни в рай,
Угости нас на кухне господней,
В дурака с нами в карты сыграй...

Не гляди, что мы худы, Владыка,
Что совсем неприглядны с лица,—
Шиты бисером мы, а не лыком —
Два юродивых — два хитреца...

Мы как птицы небесные жили,
Но у грешных учились уму:

Зуботычинами дорожили,
Собирали побои в суму...

Вот я — в язвах обугленных нищий,
Вот он — старый доверчивый пес...
Нет нас праведнее, нет нас чище,
На виду у тебя, мы, Христос...

1980

Все живое тоскует — тоскую и я о бессмертье...
Пусть бессмертье мое будет самою горшей судьбой,
Пусть одними слезами мое окрыляется сердце,
Я согласен на все, я с надеждою свыкнусь любой.

Я был так одинок, что порою стихов моих эхо
Мне казалось какою-то страшною сказкой в лесу:
То ли ворон на ветке — моя непутевая вежа,
То ли самоубийцы — мерцающий в сумраке — сук.

Но никто никогда не бывал никогда одиноким,
Оттого-то и тяжек предсмертный мучительный вздох...
И когда умирает бродяга на пыльной дороге,
Может, гнойные веки целует невидимый Бог.

Да и так ли я был одинок? Разве небо
Не гудело в груди, как огромный церковный орган?
Разве не ликовал я, взыскупя господнего хлеба?
Разве не горевал я, как, старясь веками, гора?

Пусть бессмертье мое будет самою слабой былинкой,
Пусть ползет мурашом... И когда я неслышно уйду,
Я проклянусь сквозь землю зеленым бессмысленным ликом
И могильным дыханьем раздую на небе звезду.

1966

* * *

На рассвете мое покрывается инеем тело,
Я, как мертвый в гробу, в неподвижном лежу серебре.
Узнаю свою смерть по тому, как и робко, и смело
В прозябанье мое пробирается старческий бред...

Узнаю свою смерть по какой-то смирившейся дрожи,
По тому, как меня накрывает бескрылая тень.

Средь забытых могил есть моя позабытая тоже:
Все, чем жил я вчера, похоронит мой завтрашний день.

Узнаю свою смерть в равнодушье прохожих и женщин,
По тому, как меня не тревожат ни боль, ни тоска.
Этот мир, что когда-то был щедро ребенку обещан,
Угасает в глазах обезумевшего старика.

Узнаю свою смерть по тому, как сдвигаются стены
И все уже и уже ведут на вселенский пустырь.
Я, страдавший вчера, от предчувствия чьей-то измены,
Равнодушен сегодня, измену измене против.

Изменяют давно мне и весны, и зимы, и лета,
Изменяют года; как же женщине мне не простить?..
Вот и стих равнодушен к заброшенной доле поэта,
Забывает слова и в рассудке мешается стих...

Узнаю свою смерть по тому, как с деревьев свирепо
Обрываются листья, древесную плоть оголив.
Я, как листья, хотел улететь в просветленное небо
И, как листья, меня приютили могилы земли.

Узнаю свою смерть по приметам давно не случайным.
Узнаю по тому, как меня забывают года.
Словно облако в небе меняет свои очертанья.
Словно стала седою и обледенела вода.

1971

* * *

Разыщите меня, как иголку пропавшую в сене,
Разыщите меня — колосок на осенней стерне,—
Разыщите меня — и я вам обещаю спасенье:
Будет Богом спасен тот, кто руки протянет ко мне!..

Разыщите меня потому, что я вешее слово,
Потому, что я вечности рвущаяся строка,
И еще потому, что стезя меня мучит Христова,
Разыщите меня — нищebroда, слепца, старика...

Я не так уж и слеп, чтобы вас не увидеть, когда вы
Забредете в шалаш, где прикрыта дерюгою боль,
И где спрячу от вас я сияние раны кровавой,—
Я боюсь — я боюсь, что в руках ваших ласковых — соль...

1981

Мертвая мама едет в карете.
Папа в парадном сидит сюртуке.
Мертвые дети, мы все еще дети
Где-то, в забытом былом далеке.

Мертвая мама была поломойкой.
Был полоумным мой бедный отец...
Словно карающий меч Дамоклов,
Ропот погубленных мною сердец:

— Где же ты, сын наш?.. — Я здесь, на соломе,
Сын ваш — бродяга, тюремный жилец,
В непроницаемом каменном доме...
...Так уж со мною случилось, отец.

Нет, злодеяния лишнего грузом
Я не умножил отцовых грехов...
Дом мой — безумье, и я — его узник,
Узник безумных темничных стихов.

Мама, а где же забытые сказки?..
...О, нехорошая ворожея,
Что же я вижу безликие маски?
Разве живыми не помню вас я?

Следом за вами — безумной побейкой,
Но, озаря проклятьем лицо,
Вы исчезаете с дикой усмешкой
Диких, забывших меня, мертвецов!

Не возвратит меня в детство истома,
Мука предсмертная не возвратит...
Видно, навеки ушел я из дома,
Видно, заклятьем размыты пути.

Мертвая мама едет в карете.
Папа в парадном сидит сюртуке.
Братья умершие — все еще дети,
Где-то и я еще жив вдалеке...

1968

С тех пор, как вокруг Христа душа моя ступила,
Сердечный участился громкий стук,

С душою плотничьей сам-друг...
С душою плотничьей сам-друг...

Как будто на бугре какой-то дивной шири
Я строю церковь — теремок,
И весело стучит в преображенном мире
Топор — топорик — топорок...

Господь благословил меня рабочим потом,
Я строю чудо-церковь не спеша,
И благостно поет за праздничной работой
Душа моя — поет душа...

Услышь меня, Господь, когда на круглый купол
Я вознесу крылатый крест,
Когда я стану сам своею светлой мукой,
Когда войду я в свод небес.

Я худо жил в миру; краюхой хлеба с солью
Худые улажая телеса,
Но все, что было сном, но все, что было болью,
Вознес я, как святыню, в небеса.

Пускай теперь в моей помолятся церквушке
Калеки, нищebroды, старики,
И тихая свеча горит в руке старушки,
Морщины светятся руки...

А вот и сам стою я под церковным сводом,
И стар, и благостен, и сед,—
И на мое чело ложатся мирно годы,—
О, сколько же мне, праведнику, лет?..

1985

Виктор Топоров

* * *

Не доживем до декабря,
а если доживем — не выйдем
ни на какую площадь, где
трещат поломанные судьбы,
ржут кони, лязгают затворы,
и красной меткой на снегу
восходит наше солнце...

Время

теперь другое — время спать
в медвежьей шубе под сугробом
и видеть сон, в котором — трах! —
трещат поломанные судьбы,
ржут кони, лязгают затворы,
и красной меткой на снегу
восходит наше солнце...

Боже,

как башмаки расшнуровать,
и снять пальто, и выпить кофе,
и не пойти туда, где — трах! —
трещат поломанные судьбы,
ржут кони, лязгают затворы,
и красной меткой на снегу
восходит наше солнце...
Боже...

1969

* * *

То, падая во тьму,
меня в которой нет,

неведомо кому
еще глядишь вослед,
то, скрадывая дрожь
рассыпавшихся черт,
лицо свое несешь,
как порванный конверт.

Что было в том письме?
Не ведаешь сама.
То падая во тьме,
то падая, как тьма,
то складываясь вдруг,
как перочинный нож,
то лезвием из рук
ты, выскользнув, блеснешь.

1972

* * *

Уходят последние поезда,
уходят полупустыми,
и полуполная пустота
в нас, не рискнувших с ними.

Держим то, чего нет, в руках.
Цепляемся брат за брата.
Слушаем повести о врунах.
Мнем на коленях правду.

Мир безвыигрышных номеров —
темный, пустой, огромный, —
но который из двух миров —
наш или тот — загробный?

Там ли — шабаш и мышь во рту?
Тут ли — Нева и Нива?
Сколько можно скакать в Орду?
Можно ль скакать лениво?

Мир безвыигрышных номеров —
темный, пустой, огромный, —
но который из двух миров —
наш или тот — загробный?

1976

Пасхальное восстание

Один затаил обиду
за то, что прижат к ногтю,
другой превратился в гниду,
а третий давно тю-тю,
четвертый, служа актером,
пошел поднимать Сибирь,
а пятый напичкал вздором
журнальную кривь и ширь.

Их девочки вышли замуж,
иные за целый взвод.
Одна раздобыла замшу
и ринулась в перевод.
Их жены всегда брюхаты,
ревнивы и холодны,
и кудри у них пархаты,
и руки у них влажны.

Они легко умирали —
за миллион минут.
Не знали, что их распяли,
а думали: просто пнут.
Не знали, что их восстание
свершилось и сорвалось,
повешенное заранее
за миллион волос.

Над ними не грех поплакать.
Каждый из них герой.
Один любил покалякать.
Треснуть любил второй.
Один сочинял «на рыбу»,
другой стругал палиндром,
у третьего — все нарывы
прошли на тридцать втором.

Четвертый ловил женщин
самодельным силком,
пятый любил вещи
приворовать тайком.
Были меж них тезки,
драки были меж них,
отзвук последней схлестки
в сердце моем затих.

Они легко умирали —
за миллион минут.
Не знали, что их распяли,
а думали: просто пнут.
Не знали, что их восстание
свершилось и сорвалось,
повешенное заранее
за миллион волос.

Над ними не грех посмеяться.
Каждый из них герой.
Один не сумел подняться.
Пасть не сумел второй.
Третий завел сына.
Четвертый завел дочь.
Пятый завел овчину
и в ней коротал ночь.

Над ними не грех посмеяться
и не поплакать грех.
Никто не сумел подняться.
Пасть — ни один из всех.
Не кровоточили раны,
замазанные тоской.
Не было Гефсимана.
Дьявол махнул рукой.

Они легко умирали —
за миллион минут.
Не знали, что их распяли,
а думали: просто пнут.
Не знали, что их восстание
свершилось и сорвалось,
повешенное заранее
за миллион волос.

1977

Записка

Срединные годы. Большое семейство.
Я вышел из моды. Какое злодейство.
Какие уроды мои домочадцы.
Я вышел из моды. Я буду стреляться.
В журналах доходы все хуже и реже.
Я вышел из моды, а моды все те же.

Унылые морды моих конфидентов.
Я вышел из моды. Я буду стреляться.
Унылые орды моих супостатов.
Я вышел из моды и чукчей и татов.
Унылые оды пою государю.
Я вышел из моды. Я буду стреляться.
Унылые роды моих вдохновений.
Я вышел из моды и вовсе не гений.
Унылые шкоды моей благоверной.
Я вышел из моды. Я буду стреляться.
Унылые воды каналов и Невок.
Я вышел из моды у нынешних девок.
Унылые своды соборов и спален.
Я вышел из моды. Я буду стреляться.
Унылые ходы в чужие квартиры.
Я вышел из моды у духов эфира.
Унылые сходки под плеткой свободы.
Эх, выпить бы водки!.. Я буду стреляться.

1982

Колодец

Колодец, где стоячая вода
артачится в глухом вихревороте,
куда не пробомбитесь вы, когда
не вы начнете то, что вы начнете,
колодец, где настоена полынь
на неизменном запахе железа,
куда свалиться разве что с луны,
куда забраться разве только если
что спьяну, где такие лишай,
что ни испить, ни с толком утопиться,
где гасят на ночь песенки свои
и свет с ладошки лижут у сестрицы,
колодец, где такие лешаки
стоят у поворотного устройства,
что ни с ума, ни с жиру, ни с тоски
немочно раскачаться на геройство,
где гадины, дохлятина и гнусь
заполонили полые объемы,
колодец, чье название не берусь
и прошептать, настолько незнакомо
покажется исконное словцо,
где осень отсыпается (откуда
здесь быть лесам?), где каждое лицо

двоится, как расколотое блюдо,
то пряча, то выпячивая не-
красоту, не-святость, не-невинность,
колодец, где я столько на дне
похоронил, что сдохну, а не сдвинусь,—
колодец — это лодка: можно плыть
не поспешая в деревянном срубе,
где стены от усталости теплы,
а зимы выносимы,— пусть не в шубе,
зато в толпе: колодец, где никто
наверх не рвется (в черную воронку
невиданного неба), а зато
заводит — кто собачку, кто ребенка,
кто девочку — чтоб лечь наискосок,
кто мальчика — в пятнашки или в шашки,
кто домик из отодранных досок,
кто парус из подхваченной бумажки,
кто обезьянник, кто молитвослов,
кто спички отсыревшие, кто порох,
оставшийся от прежних драчунов,—
но лишь затем, чтобы попыхать в спорах...

Я многое похоронил на дне —
и уронил — за все десятилетия,
среди костей, колечек и монет,
одетых одинаковою медью,
подернутых песком небытия,
подложенным под выцветшую жижу
как бы воды — среды, откуда я,
бросая все, но к воздуху не ближе,
теряя все, но темен и тяжел,
обремененный каждою потерей,
как первую,— откуда я пошел,
что не уйду — хоть в пустоту — не веря...
Колодец — это лодка для двоих,
мизинцем остановленное время,
где гасят на ночь песенки свои
и вниз летят, на нежных нотах рея,
колодец — это место для бесед
с самим собой не хуже ваших гротов,
арена для сраженья против всех
и дыба для сведенья старых счетов.

Колодец — это правило двора
соединяться с прочими дворами
забитыми парадными... Вчера
здесь был я, бил и выл под каблуками —
и сверху замигавшее окно

не то, чтобы погасло,— затемнилось,—
и ничего ужасного со мной
и в этот раз, как прежде, не случилось.

Колодец — это место не тесней
и не мрачней любого из возможных;
я многое похоронил на дне,
и уронил, и спрятал так надежно,
что днем с огнем теперь не отыскать
в одетом одинаковою медью,—
хоть запусти в трясину батискаф,—
мое неразличимое наследье...

Монеты, кольца, кости и — слова:
нет проигрышей в этой лотерее;
скользни сюда — вода стоит мертва,
как пальцем остановленное время;
вода цветет — я знаю этот цвет,
люблю его: единственно правдивый
цвет стертых слов, костей, колец, монет;
вода мертва, а мы и в мертвой живы.

Как нищенство, все жалко и общо,
как христианство, неосуществимо;
скользни сюда — куда ж тебе еще,
где все неразличимы и в любви мы...

Не надо наклоняться надо мной,
лицо в лицо, из вышнего квадрата:
там точно так же сыро и темно,
и точно та же тяжкая неправда,
и если притяженье с двух сторон,
из глаз в глаза, в узлы затянет петли,
то не взлечу, как белое перо,
а упадешь немедля, как ни медли.

И если вышлешь белую ладью
и я во тьме бадью твою поймаю,
то не взлечу с тобою, а собью,—
и здесь, на дне, бесследно потеряю.
Не надо наклоняться — ни ко мне,
ни надо мной — из верхнего просвета:
колодец — это ложе из камней,
и насмерть заколоченное лето,

и никогда не будет здесь весны,
колодец — это место, где водица
идет из глубины, из глубины...
Но ни испить, ни с толком утопиться.

Яков Гордин

ПЕВЦЫ ИСКАЖЕННОГО МИРА

*Мир видимый и мир возможный:
Умом своим создаст поэт...*

Хвостов

Под ними хаос шевелится.

Тютчев

В русской классической литературе есть два обиженных поэта — Тредъяковский и Хвостов. Еще Вяземский писал: «А право напрасно закидали бедного Тредъяковского такую грязью». Он же связал имена двух опальных стихотворцев: «Надобно когда-нибудь сличить Тредъяковского и Хвостова в переводе из поэмы Буало...». Здесь уже чувствуется литературоведческий интерес. К сожалению, Вяземский надолго остался одинок в своем интересе, да и не это определяло его отношение к Хвостову. И если о Тредъяковском постепенно стали говорить с некоторым уважением, то Хвостов и по сию пору считается графоманом. А между тем он был далеко не безынтересным явлением.

Хвостов написал массу прозрачных и стройных стихов. Они были не хуже и не лучше многих других стихов его времени.

Упругий, ралу непокорный,
Окаменелый и безводный,
Не даст пшена песчаный слой:
Лишенное благословенья,
Как прах от бури дуновенья,
Погибнет семя крови злой.

Но авторы других подобных стихов не знали и сотой доли тех оскорблений и насмешек, которые достались Хвостову. Положение Хвостова в современной ему литературе было совершенно уникальным. Вигель писал в своих «Записках»: «Вошло в обыкновение, чтобы все молодые писатели об него

оттачивали перо свое, и без эпитафии на Хвостова как будто нельзя было вступить в литературное сословие».

Чем же было вызвано это всеобщее ополчение?

Быть может Хвостов был ретроградом, мракобесом, политически мрачной фигурой?

Пожалуй, нет.

В отношении общественном он был, скорее всего, человеком державинской ориентации. Он сам писал в послании Державину:

Приемля дар и кисть, не скрой злодейств картины.
Под игом уз, земной не редко страждет шар,
Кровь смертного пьют поля, морей пучины,
Наносит властелин бессильному удар.
Глагол небес — молчат законы,
Не редко слышен вопль и стоны.

Он писал Державину: «Твои стихи — закон народам и Царям».

Если вспомнить, как относились к Державину декабристы, то становится ясно, что позиция Хвостова отнюдь не была реакционной.

Более того, в 1798 году, в разгар павловского террора, Хвостов писал:

Не медля пред собою мертву
Убийца зреть желает жертву,
И точит кровь и жизнь сечет.
Язык, коль злые речи трубит,
Ежеминутно казнь дает...

А вот строки, написанные в 1826 году, т. е. после разгрома декабристов:

А вы, упрямые Катоны
Стените, доблесть не нужна!

В 1823 году в издаваемой Рылевым и А. Бестужевым «Полярной Звезде» Хвостов напечатал подпись к портрету адмирала Мордвинова, либерального деятеля, на которого декабристы возлагали большие надежды. Подпись эта гласила:

Здесь кистью оживлен Мордвинов — друг людей.
В совете, на войне, в чертогах у царей
Он разумом своим и духом отличался —
Он правду говорить и делать не боялся.

«Друг людей», «друг человечества» — это была излюбленная формула вольнолюбивцев конца XVIII — начала XIX века. И очень любопытно, что Хвостов ею воспользовался. (Вспомним — «друг человечества» у Пушкина в «Деревне»).

Хвостов, разумеется, был далек от декабризма, но совершенно ясно, что бесчисленные нападки на него со стороны литераторов пушкинского круга вызваны не политическими причинами.

Причины были, как им казалось, сугубо литературными.

Что-то в стихах Хвостова глубоко возмущало и озлобляло современников. Заставляло писать на него десятки эпиграмм, выводить его в сатирах. Одно время значительная часть русских литераторов была всерьез занята борьбой с вполне безобидным, казалось бы, Хвостовым.

В чем же дело?

Дело было в том, что они чувствовали в стихах Хвостова систему, совершенно чуждую всему строю их сознания, их представлений о поэзии.

Хвостова непреодолимо тянуло к поэзии усложненной. И в тех своих стихах, которые не были прозрачными и стройными, он по мере сил старался следовать завету Ломоносова — «сопрягать далековатые идеи». Он был верным учеником и апологетом Ломоносова:

О Ломоносов стрелометный!
Я пел тебя и вновь пою...

Усложненная поэзия Ломоносова уже в XVIII веке вызвала резкую оппозицию Сумарокова и его линии. Тынянов писал по поводу сумароковской критики Ломоносова: «Сопряжению далековатых идей» противопоставляется сопряжение близких слов, слов, соединяемых по ближайшим предметным и лексическим рядам...»

Сумароков пародировал Ломоносова в своих «Вздорных одах». Обвинения, которые предъявлялись Ломоносову, вполне совпадали с обвинениями, предъявлявшимися позднее Хвостову. А его стихи вызывали неоднократные пародии со стороны карамзинистов. Для Жуковского, Вяземского, молодого Пушкина — Хвостов был концентратом недостатков XVIII века. Они только что вышли из этого века, они очень многим были ему обязаны, они любили его, однако хотели, но никак не могли стряхнуть его с себя — и потому относились к нему крайне ожесточенно. Но прямыми поводами для насмешек и пародий была именно «вздорность» хвостовских стихов, их нелепость, их неточность. Эта неточность особенно раздражала поэтов, стремившихся к предельной поэтической точности. Но попытки пародировать Хвостова не удались так же, как провалились попытки Сумарокова пароди-

ровать Ломоносова. Ибо дело было не только в методе, но и в особенностях мышления.

А. О. Смирнова-Россет вспоминала: «Они (Пушкин и Жуковский) тоже восхищались и другими его (Хвостова) стихами по случаю концерта, где пели Лисянская и Пашков:

Лисянская и Пашков там
Мешают странствовать ушам!

«Вот видишь,—говорил ему Пушкин,—до этого ты уж никак не дойдешь в своих галиматьях». Галиматьи Жуковского были, и в самом деле, вполне рационалистически придуманы. В них не было органической нелепости, высокой поэтической неточности.

А Хвостов, следуя именно особенностям своего литературного мышления, постепенно создал целую систему поэтической неточности и нелепости. Систему выпадения ассоциативных звеньев. Систему в своем роде замечательную.

Он пытался дать ей теоретическое обоснование:

Свободный сильный стих родить
Бесплодны разума горнилы.

А в авторском примечании к этим стихам говорится: «Сочинитель рассуждает здесь не о способности и превосходстве Поэта, но собственно о здравом смысле и рассудке, который необходим при расположении и суде о творении, но часто охладает писателя во время восторгов».

Надо сказать, что в литературной среде, на которую ориентировался Хвостов, почитали именно интуитивно-вдохновенное творчество. Шишков говорил о своих переводах из Тасса: «...та высокоумная горячка, тот великолепный бред». Эти слова вызвали издевательское замечание Вяземского: «Будьте покойны! и горячка и бред—все найдешь у вас с избытком». Между тем, это была не обмолвка, а положение литературной программы.

И Хвостов тоже был противником рассудочного творчества. Он был за «свободный стих». И стихи он создавал для своего времени весьма «свободные»:

Я беззаконный цвет багряный
Подобно снегу убелю,
Как овчье руно явлю
Осенней ночи кров туманный.

Чтобы сказать в десятых годах прошлого века — «беззаконный цвет багряный» — нужно было быть человеком решительным. Смещение планов не поощрялось в те времена.

И. И. Дмитриев, встретив у какого-то поэта строку «Стихи мои, обрызганные кровью», сказал: «Что ж кровь текла у него из носу, когда писал он их?» (Через пятьдесят лет строки Некрасова «Дело прочно, когда под ним струится кровь» подобной реакции не вызывали).

«Обрызганные кровью» — образ зримый, плана конкретного, бытового. И, следовательно, «стихи», по мнению Дмитриева, должны фигурировать в том же плане — в виде испанского листа.

Вяземский писал о Ломоносове:

«Когда заря багряным оком
Румянец умножает роз.

Багряное око — никуда не годится. Оно вовсе не поэтически означает воспаление в глазу прямо относится до глазного врача».

Того же Вяземского страшно возмущали стихи Н. Полевого:

Паркет и зала с позолотой
Там пахнут скукой и зевотой.

«Паркет пахнет зевотой!» — в ужасе и негодовании восклицает Вяземский. И не удивительно, что именно он был самым ревностным гонителем бедного Хвостова. Система поэтической неточности, поэтической нелепости была ему органически чужда. (Между прочим, за подобные же поэтические вольности резко нападал на молодого Пушкина его, казалось бы, соратник арзамасец Воейков. В обвинениях своих он почти буквально следовал Сумарокову, обвинявшему в бессмыслице Ломоносова, Стилистическая ситуация в литературе десятых годов была сложной, запутанной. И карамзинисту Воейкову почудился, впрочем, не без оснований, ломоносовский рецидив).

Но чего-чего, а смелости и умения переносить насмешки у Хвостова хватало. И он сопрягал «идеи» столь отдаленные, что современники умирали со смеху.

Так у него, например, льстец «вьется жабою». Может жаба виться? Нет, конечно. Есть ли в этом «сопряжении» смысл? Безусловно. Жаба — это образ с точной окраской. Жаба вызывает отвращение. Хвостову нужно, чтобы льстец вызвал отвращение. Поэтому он пристегивает характерный для льстеца глагол «вьется» к жабе, для которой это действие вовсе не характерно. Но цель достигнута — льстец и жаба поставлены в один ряд.

Одно из стихотворений Хвостова начинается так:

Змея, в тени дерев пируя,
Питает скрытно умсл злой.

Змея, пирующая в тени деревьев, действительно, вызывает улыбку. Но откуда это человекоподобие? Читая стихотворение дальше, мы узнаем, что речь идет о клеветнике. Все становится ясно. Клеветник сравнивается со змеей. Но поэт смотрит мимо предмета сравнения на основной объект. И качества клеветника переходят к змее. Происходит сложная взаимоподстановка. С жабой было то же самое.

Надо отдать должное некоторым русским литераторам — они воспринимали творчество Хвостова именно как некую безумную систему, в своем роде незаурядную. Вяземский, приводя очередную хвостовскую нелепость, говорит: «Впрочем, у доброго Хвостова такого рода диковинки были не аномалии, не уклонения, а совершенно нормальные и законные явления».

Пушкин писал в письме тому же Вяземскому: «Что за прелесть его (Хвостова) послание! Достоинно лучших его времен. А то он было сделался посредственным».

Один из современников Хвостова, литератор М. Дмитриев, писал о нем: «Его сочинения замечательны не тем, что они плохи: плохими сочинениями нельзя прославиться... А он, в Петербурге и в Москве, составил себе имя тем, что в его сочинениях сама природа является иногда на выворот... у него... осел лезет на рябину и крепко лапами за дерево хватает, голубь — разгрыз зубами узелки, уж — становится на колени...» и т. д. Тот же самый Дмитриев назвал творчество Хвостова «гениальной бессмыслицей», проявив при этом незаурядное литературное чутье.

Все эти «зубастые голуби» и ужи, стоящие на коленях, появились по той же причине, по которой змея пировала под деревом, а лстыец вился жабою. Сквозь этих басенных персонажей поэт видел людей, и среднее смысловое звено он для пущей выразительности опускал.

Своеобразно нелепый стиль Хвостова выработался и окреп в его посланиях, баснях и притчах. Этот «низкий» жанр был не так жестко регламентирован, и экспериментировать здесь можно было гораздо свободнее. Причем, Хвостов в полной мере использовал «низость» жанра, наполняя стихи бытскими деталями, просторечием. Его противник А. Измайлов засвидетельствовал это обстоятельство в эпиграмме:

Хвостон наш фабулист примерный:

Нет в баснях у него искусства, пышных слов,

А сколько простоты! Вот в них-то совершенный

Язык скотов!

Надо сказать, что в бытовых, «низких» стихах того времени внимание к конкретной детали было гораздо напряженнее, чем в стихах «высоких». Поэт Неелов в частном послании писал:

Племянница моя, княгиня Горчакова,
Которая была всегда страх бестолкова,
Пожалуйста, пойми меня ты в первый раз
И на стихи мои ты вытаращи глаз.

Не глаза, заметьте, а именно — глаз. Один глаз. Тут дается предельно укрупненная деталь — как в кино.

То же у Пушкина в письме к Соболевскому:

То-то друг мой растарашит
Сладострастный свой **глазок**.

Смешно думать, что Пушкин не справился с фразой, и что единственное число здесь случайно.

А Хвостов обладал удивительной способностью утрировать особенности жанра.

Любил он и распространять найденный прием на другие жанры. То, что в «низком» жанре с его, повторяю, тяготением к укрупненной детали выглядело вполне нормально, из жанра «высокого» на взгляд современников решительно выламывалось, казалось нелепостью и идиотизмом. Так было с вышеупомянутым единственным числом. Когда Хвостов писал в своих псалмах:

И в дебри лев ожесточенный
Рыкает, с зубом зуб стесня...

то это могло казаться только грубой поэтической ошибкой, неумением.

А Хвостов очень смело смешивал жанры. Ему ничего не стоило в «высокий» контекст псалма (куда уж выше!) поместить такие строки:

Все Бог воздвиг и все создал;
Каменья, дикие пустыни
Он зайцам в жительство избрал...

Надо сказать, что сама мысль поместить зайцев в «каменья, дикие пустыни» — могла вызвать насмешку. Это идея того же порядка, что и осел, лезущий на осину, уж, становящийся на колени и т. д. — удивительное, величественное пренебрежение к реальному соотношению деталей при усиленном внимании к каждой в отдельности. Автора интересовало другое.

Своеобразие мышления Хвостова проявлялось и в переводах. На его перевод Буало Крылов написал следующую эпиграмму:

— Ты ль это, Буало? Скажи, что за наряд?
Тебя узнать нельзя: конечно, ты вздурился!
— Молчи, нарочно я в Хвостова нарядился:
Я еду в маскарад.

В эпиграмме этой, наряду с явной насмешкой, содержится и безусловное признание творческой индивидуальности переводчика. Буало, переведенный Хвостовым, перестал быть Буало и стал Хвостовым. Хвостова трудно было с кем-нибудь спутать.

Надо сказать, что Хвостов был совсем неплохим переводчиком, Расинова «Андромаха» в его переводе долгие годы шла на русской сцене.

Было бы неверно рассматривать литературные вихри вокруг Хвостова только как следствие борьбы «Арзамаса» с «Беседой». Уже в тридцатые годы, когда полемика двух этих обществ давно перестала быть актуальной, имя Хвостова всплывает в совершенно иной связи.

3 мая 1833 года П. Киреевский писал Н. Языкову: «Твое последнее письмо от 15 апреля заставило меня несколько беспокоиться об участии писем гр. Хвостова, его стихотворений, и книг Иакинфа. Очень будет досадно, если почта их потеряет, потому, что там есть между прочим одно рукописное послание Хвостова к Жуковскому, которое начинается так:

Оставя норд, земное изголовье,
Чтобы с теплом в запас глотать здоровье,
Ты посетил Неаполь, Рим,
Надеемся и часто говорим.

Это одно из самых гениальных произведений Хвостова, в котором отражается между прочим и дух новейшей Романтической Эстетики».

Тут любопытен не только живой интерес к сочинениям старого поэта (не лень же было Киреевскому посылать хвостовские стихи из Москвы в Симбирск — стало быть Языкова они очень интересовали), но и упоминание в связи с ними «духа новейшей Романтической Эстетики». Очевидно имеется в виду субъективизм в восприятии и отражении мира, свобода от нормативности. Таким образом — если в двадцатые годы произведения Хвостова воспринимались как средоточие недостатков классицизма, то уже через десять лет их принимали за нечто противоположное. Между тем, Хвостов был неизменен. Просто он не укладывался в рамки. Он был свободен в выборе средств. И данное четверостишие лучший тому пример. Если первая строка являет нам образец высокого стиля, то вторая — до предела снижена. То же самое происходит соответственно с третьей и четвертой.

Кроме того, для романтической эстетики — а здесь имеется в виду эстетика немецкого романтизма — характерно наличие иронического, пародийного элемента. И, судя по высказыванию Киреевского, литераторы тридцатых годов, живо интересовавшиеся романтической эстетикой, догадывались о пародийном зерне хвостовской поэзии. Неважно, что сам Хвостов не подозревал об этом ироническо-пародийном оттенке своих стихов. Как мы увидим, зерно это, упав на тучную почву богатой странностями российской действительности, проросло. Именно по этой причине стоит заинтересоваться творчеством графа Хвостова, поэта отнюдь не первой величины, и потревожить его настрадавшуюся при жизни поэтическую тень. Ибо принципы «нелепой» поэзии, усложненной поэзии, которые нашли столь своеобразное выражение в стихах Сардинского графа, не умерли вместе с ним.

Судьба этой поэтической линии в XIX веке была сложной, и говорить о ней здесь не стоит. Но в начале нашего века появился поэт, который, хотя и на гораздо более высоком уровне, но разделил судьбу Хвостова и Тредьяковского.

Я имею в виду Хлебникова.

В XVIII веке насмеялись над Тредьяковским. В XIX веке — над Хвостовым. В XX веке — над Хлебниковым.

Хлебников писал об этом:

Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни,
И камни будут надсмехаться
Над вами,
Как вы надсмехались
Надо мной.

Как и у Хвостова, у Хлебникова есть немало стихов совершенно классических, могущих украсить любую хрестоматию (разумеется, куда более талантливых, чем у Хвостова). Например:

Сегодня Машук как борзая,
Весь белый, лишь в огненных пятнах берез.
И птица на нем, замерзая,
За летом летит в Пятигорск.

Или:

Точит деревья и тихо течет
В синих рябинах вода.
Ветер бросает нечет и чет,
Тихо стоят невода.

Однако, в сознании широкого читателя Хлебников живет в качестве изобретателя забавных поэтических кунштюков. Это, разумеется, не случайно. Но, в действительности, дело обстоит гораздо сложнее.

В замечательной статье о Хлебникове Тынянов вспомнил Ломоносова, учителя Хвостова,— «у современников всегда есть чувство неудачи, чувство, что литература не удастся, и особой неудачей является всегда новое слово в литературе. Сумароков, талантливый литератор, говорил о гениальном писателе Ломоносове: «убожество рифм, затруднение от неразности литер, выговора, нечистота стопосложения, темнота склада, рушение грамматики и правописания и все, что нежному упорно слуху и неповрежденному противно вкусу...» Стихи Ломоносова и были, и остались непонятными, «бесмысленными» в своем «излишестве».

Тынянов связывает судьбу, литературную судьбу Ломоносова с судьбой Хлебникова.

Но между ними стоит Хвостов.

Хлебников и Хвостов похожи формально. У них есть строчки — близнецы. У Хвостова: «И зависть в радости трепещет...» У Хлебникова: «Коварство с пляской пробегает». Эти строки можно поменять местами. Или вот еще — совершенно хвостовские строки у Хлебникова:

Здесь жадность, обнажив копыта,
Застыла, как скала...

Но есть связи более глубокие.

Современник, как мы помним, назвал стихи Хвостова «гениальной бессмыслицей».

Гумилев писал о Хлебникове: «Его образы убедительны своей нелепостью, мысли — своей парадоксальностью».

Хлебников — неисчерпаем. Он неизмеримо шире Хвостова. Но в одном они смыкаются — в тяге к миру поэтической нелепости, при помощи которого они стараются как можно точнее воспроизвести реальный мир. И у того, и у другого — выпадают ассоциативные звенья, и «далековатые идеи» сталкиваются лбами.

Строки Хлебникова:

Нет, речистый, не сумеешь
Лани вынуть медный вред.

Речь идет о медном наконечнике стрелы, которой ранена лань. В словосочетании «медный вред» — обозначение материала стрелы сомкнулось с результатом действия. Опущены промежуточные связи. Перед нами смысловой сгусток.

Хлебников связан не только, и быть может — не столько, с Хвостовым, сколько с той системой поэтического мышления, которая породила хвостовскую систему нелепости.

Сумароков, довольно точно уловивший в пародиях на Ломоносова особенности его поэтики, писал в одной из них:

Там громы в громы ударяют
И не целуют тишины.

У Хлебникова мы находим:

И ветров гневных племена
Рассвирепели поцелуем.

Есть у Хлебникова и прием, переведенный Хвостовым из бытового стиха в высокую поэзию — резкое укрупнение важной детали путем замены множественного числа единственным.

Но вдруг у него показалась грива
И острый львиный коготь...

Показался, разумеется, не один коготь, — а когти. Но деталь эта — главная. И Хлебников выделяет ее хвостовским приемом, сознательно идет на поэтическую нелепость.

Через Хлебникова влияние поэтической нелепости пошло дальше.

У Хлебникова читаем:

Сорок бороров взвизгнуло
Взором бело-красных глаз,
И священного разгула
Тень в их лицах пронеслась.

У Заболоцкого:

И толпы животных и диких зверей,
Просунув сквозь елки рогатые лица...
Или: Змеи спят, запрятав лица...
Или: *Лицо* коня прекрасней и умней...

Во всех этих случаях мы имеем дело все с тем же принципом подстановки.

А когда Олейников в стихах о таракане пишет:

Его косточки сухие
Будет дождик поливать,
Его глазки голубые
Будет курица клевать...

— то сразу вспоминаются зубы хвостовских голубей, колени его ужей и т. д.

Если внимательно присмотреться к поэзии Хвостова, то становится ясно, что связи его с обериутами достаточно принципиальны.

В статье «Заболоцкий и Державин»¹ И. П. Смирнов писал: «Ранние стихи и поэмы Заболоцкого починены карнавальному мироощущению... Восприятие пространства условно, не локализовано, ибо карнавал захватывает все и всех». Посмотрим в этом плане стихотворение Хвостова «Майский праздник в Екатерингофе 1824 года».

Народов дальних вижу сонм,
И льется звук за звуком громко,
Бесперестанно слышен звонок
Один в дубраве гул кругом.
Там Финны, Греки и Татары,
Дымятся трубки, самовары:
Поэт, Писатель, Журналист
Глодают пыль и слышат свист,—
Свист дудочек и губ проворных;
Овечек сотни там покорных,
Медведей больше и лисиц,
Разнообразных много лиц.

Желая добросовестно запечатлеть обычное гуляние, Хвостов, подчиняясь закономерностям своего творческого восприятия, создал вполне фантазмогорическую картину.

А когда в том же стихотворении мы читаем:

Жених ее, сидящий рядом,
Ласкается угрюмым взглядом
И потуплении очей;
Невесте в знак любви и жару
Курит и под носом цыгару.

то не нужно особых изысканий, чтобы уловить прямую связь этих строк с «бытописанием» «Столбцов» Заболоцкого.²

(Кстати говоря, в строке «ласкается угрюмым взглядом» предвосхищена знаменитая строка Тютчева — «угрюмый тусклый огонь желанья»).

Тынянов писал: «Вспышки Ломоносова — то тут, то там в стиховой стихии XIX века». Приблизительно то же самое можно сказать о Хвостове в XX веке.

¹ Сб. «Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века». «Наука», 1969 г.

² Это наблюдение было впервые сделано много лет назад известным филологом-античником А. Н. Егуновым, внимательно читавшим Хвостова.

Виктор Липатов

«...НА ЖИЗНЬ, НА ТОРГ, НА РЫНОК...»

Сытые на выставке голодного — зрелище. Сытые разнежены, сочувствующие, снисходительны; голодный — собран и напряжен. В сытом теле дух, конечно, богаче, пахнет хлебом, пашней, цветами. В голодном — дух, как меч, и пахнет железом.

Аскет — фанатичен? Фанат обязательно аскетичен?

Аскет поневоле, фанат по жизненной удаче. Павел Филонов расходился с окружающим миром в определении счастья. Космос будущего, в котором надлежало расцвести цветку внутреннего космоса человека, — для тех, от кого и само существование художника зависело, — был лишь туго набитым брюхом и корыстной властью.

Мерила счастья катастрофически не совпадали. Мощная сосредоточенность времени, излучающая на современность, и современность, безнадежно отстающая от времени, но цепко держащая его в узде.

Художник-исследователь, вот как он себя называл. А вообще-то для Филонова обязательна триада: художник-исследователь, изобретатель, революционер. Но прежде всего Филонов — вдохновенный жрец бога Разума. «...проламывать дорогу интеллекту в отдаленное будущее». В грандиозных просторах грядущих дней ему хочется встретить лишь умных и талантливых людей и «чтобы человечество вошло туда не таким кретином, каким оно является ныне». Стремление к свету предполагает резкое высветление мешающего. Он не судит человечество, а предлагает ему свою помощь, нет — навязывает. Потому что «чрезвычайно горд и нетерпелив... Всякую половинчатость он презирал». И учеников учил жестко: «Плачь, но рисуй». Но море доброты омывало островок его жесткости. Был предан друзьям, мелких раздоров не любил. Когда Мандельштам вызвал Хлебникова на дуэль, именно Филонов «образумил их».

Познание мира — долг. Картина — «фиксация интеллекта». Лишь вбирал интеллект, картина его же и излучает. Действует адекватно силе, «с какой действовал над собою мастер». Только сильно развитый разум позволяет сквозь

привычные покровы лицезреть движение мыслей и рождение эмоций. Постигнуть бег частиц в потоках течений, образующих организм. «...так как я знаю, анализирую, вижу, интуитивно, что в любом предмете не два предиката, форма да цвет, а целый мир видимых и невидимых явлений, их эманаций, реакций, включений, генезиса, бытия, известных или тайных свойств, имеющих в свою очередь иногда бесчисленные предикаты...»

В руках у художника маленькая кисть: чтобы и самую ничтожную, величиной с иголочный укол, почти невидимую часть природы заметить и сработать на диво. Он страшится, что большой кистью смахнет эту наиважнейшую кроху. Ведь она — «единица действия». Картина — согласное движение подобных точек.

«Не так интересны штаны, сапоги, пиджак или лицо человека, как интересно явление мышления с его процессами в голове этого человека или то, как бьет кровь в его шею через щитовидную железу...» В его стремлении постичь круговращение внутренней жизни в организме и природе усматривали предвосхищение достижений науки бионики.

«Живая голова» — попытка наблюдать роение мыслей и ощущений, рождаемых пульсацией крови и движениями мышц. Изображение сонма искорок жизни, формирующих лицо.

На автопортрете худое скульптурное лицо, лоб мыслителя. Художник кистью нацеливается на точку атома. «Каждый атом должен быть сделан».

Он говорит о «сделанности» вещи, как о ее главном мере — в противовес интуиции и вдохновению. Разум и высокий профессионализм. Рассчитать и превосходно сделать.

Заметим, что художник умел великолепно изображать и штаны, и сапоги, и пиджак, и лицо — о чем убедительно свидетельствует портрет А. Ф. Азибера, написанный в лучших традициях реалистической живописи рубежа веков. Но главенствует постулат: «Интересен не только циферблат, а механизм и ход часов...»

Воспевая трезвый и всепроникающий холод разума, Филонов понимает цвет, как тепло. Цвет «въедается» в атомы, как тепло в тело. Внутри цвета солнечный свет. Картина напоена цветовым теплом. Жизнь расцветает. Картина растет, как кристалл, как живой организм — «атом за атомом, как совершается рост в природе». Творение картины — один из процессов природы. Многие свои картины именуется он формулами.

Мастер действует над собой, картина отражает эти действия. Оттого так огромно уважение к «Всевидящему глазу» и «Знающему глазу». Поднимается знамя аналитического искусства, как наиболее революционного. Велемир Хлебни-

ков, описывая художника (очевидно Филонова), вкладывает ему в уста следующие слова: «Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени». Художник — как спасатель. Он бросается в бурное движение волн жизни, чтобы не дать исчезнуть биоэнергии, растворяющейся в пучине времени.

Человек с лицом подвижника и «фигурой апостола», Филонов всегда социален. Человечество — кретин... «Кому нечего терять»: каменные надолбы города сминают одереветневших людей-роботов. Предреволюционная Россия. Среди машинного ритма странно смотрится человек, прислоняющий руку ко лбу. Робот-мыслитель? В «Волах» художник откровенно объясняет: сцены из жизни дикарей. Тюрьмами смотрятся хаты, уродливые животные бродят по улицам. Вымученно-бледный серенький колорит... У «Дворников», восседающих у самовара — лица осведомителей. А в штольнях жизни движутся крепкие фигуры рабочих — механическое, заученное, «связанное» движение фигур.

Ограниченно-туповатую власть предержавшую изображает художник в «Формуле городского» и «Казни»: обнаженные, врастающие в стену в ожидании расстрела, распятия с распятиями и властвующие — квадратные люди на квадратных лошадях.

«Подкрадывается город с кинжалом Брута», — писали футуристы. С душевной теплотой рисуя московский дворик, Филонов видит город, как столпотворение слепоглазых зданий, как каменное месиво. «Растущее торжество Машины» (Маринетти) вызывает в нем не восхищение, а тревожное беспокойство. Хлебников называл Филонова малоизвестным певцом городского страдания.

Понимание низкого уровня развития человечества, как бурления еще только вылепляющейся массы, вызывает у художника естественное желание ускорить процесс утверждения человеческого в человеке.

Каменная пустыня порождает мутантов — зверей с мордами, в которых угадываются черты человеческих лиц. Мотив расправы: лениво-угрожающе и сыто-победоносно звери потягиваются среди трупов людей — мужчин, женщин, детей. Но чаще звери, как ожившие непомерно выросшие игрушки, в которые страшно играть. Квадратны и грациозно-неуклюжи — слепая зашифрованная сила. Люди, превратившиеся в зверей? Одичавшие? Звери, ставшие человекоподобными?

«Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок... — писал Велемир Хлебников. — Изгнанные из туловищ, души зверей бросились в него... Построили в сердце звериные города».

В картине «Нарвские ворота» художник воздвигает памятник: старик-творец со странно-страшным лицом, а рядом

звери-роботы, вставшие на дыбы. Маленькие, недоуменно-застывшие фигурки людей. Привычка к рабству, обыденность поклонения идолам. Фантазмагория цветowych пятен-квадратов воронкообразной метелицей вовлекает взгляд внутрь картины, фигуры лепятся навстречу, словно в цепенящем сне.

Звериное в человеке приобретает у Филонова и политическую, антимещанскую окраску. В «Формуле буржуазии» последняя представлена свиноподобным существом. «Ломовые», управляющие лошадьми с человеческими глазами — звероподобны. В «Шпане» лица хулиганов теряют человеческое. А в картине без названия на фоне города в кресле-каталке сидит-правит обезьяноподобное существо. Намек? Предвидение? Правда жизни?

Превращения людей в зверей и зверей в людей — два взаимонаправленных, но несовмещающихся потока.

Я со стены письма Филонова
Смотрю, как конь усталый, до конца.
И много муки в письме у оного,
В глазах у конского лица.

Через муку художника к муке конского лица. От страдания лошади к страданию человека. Таким увидел себя в портрете Велемир Хлебников.

Апофеоз бессмысленности бытия — война («Германская война»). Каток «Войны Великанши» кристаллизует лица, ноги, руки — асфальт уничтожения. Свет и тени мечутся над расслоением человеческих тел: «На немецких полях убиенные и убойцы прогнили цветом».

Солдат Филонов, участник этой войны, стал революционным солдатом. Его избирают председателем солдатского съезда в Измаиле, председателем центрального исполкома Придунайского края и военно-революционного комитета. А в Петрограде он — руководитель отдела общей идеологии института художественной культуры. Природный организатор и целеустремленный человек, Филонов всегда искал единомышленников. Он создает группы молодых художников и это социально направленные группы. Во всяком случае коллектив «Мастеров аналитического искусства» первой темой называет «Гибель капитализма»...

Самому Филонову более всего свойственно то, что впоследствии назвали утопией о братской жизни на земле. Он воспекает крестьянскую семью. Горбатится неизбывной силой могучий апостоловидный муж — мужик. Меж вознесенных рук царит ребенок. Восхищается прекрасная жена. Верный пес щерит зубы, петух с курицей деловито клюют, а нежный лошонок подбегает к людям, излучая преданность и сочувствие мягко бархатными человеческими глазами. Пышное

царство растений, цветов, плодов окружает семью. Люди — вседержители земли. Второе название картины — «Святое семейство». Мотив святости и в другом полотне — «Трое за столом». Дед-лесовик, женщина с чашей и воздающий хвалу — пред чудом цветущей жизни. Самозабвенное созерцание волшебного мира цвета и света. Лица обозначены благодарственным настроением.

Но уже в «Коровницах» (также рассказ о жизни на природе, с природой и в природе) — резко нарастает мотив недоумевающей притчи. Мир коровниц и коров, осененный изобилием сочно вылепленных плодов, возносится над дальними каменными строениями. Но сами коровницы уже смотрятся и существами пришлыми из лесных закоулков, из степных далей. Напоминают божков — в фигурах сделанность, высеченность и из иного, неживого, вещества. Угластые коровы с осмысленным выражением глаз проявляют самостоятельность. Густота, — дробность, смещение реальных соотношений мира... Возможно следует отнести к этому ряду и «Масленицу», где, усыпанная цветами, веселая кутерьма людей, лошадей создает ощущение праздника, происходящего по ту сторону сознания.

Человек рождает мир, мир рождает человека. Филонов не делил землю на страны, а свою планету видел в общем хороводе Вселенной, которую пытался выразить одной формой.

Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звезды — невод, рыбы — мы,
Боги — призраки у тьмы.
(В. Хлебников)

В картине «Победа над вечностью» множество цветных полусфер-парусов, наполненных ветром космических просторов. А начало плавания в «Кораблях», где, как летучие голландцы, скользят светлые легкие парусники без единого человека на борту.

Художник создает переменчивый и переимчивый красочный мир кристаллических решеток, атомов, частиц, знаменующих рождение мыслей и чувств, биение сердца и бег крови — из этого мира лепится человек. Слово занавеси раздвигаются, и из цветовой мозаики выглядывают, выплывают всматривающиеся лица, лики, возникают контуры людей-невидимок. Фигуры мужчины и женщины формируются из пестроты жизни и парят в космосе. Мотив взлетающих фигур. Их оттеняет действие жизни: от шута до бессмысленного монарха.

Филонов сочиняет «Декларацию мирового расцвета» и пишет цикл картин «Ввод в мировой расцвет». Его призыв: «Художник... имей идеологию в мировом масштабе, научное восприятие и его запросы», — подтверждает — он мыслит планетарно и думал о лучезарном будущем. Цветы, символ этого будущего, кристаллически множатся, устремляются ввысь, нежно пылают. Цветы, как соединяющая поэзия жизни. В букетах светло-розовых цветов (рисунок на ковре) художник изображает любимую сестру, кому выпало сыграть в его жизни охранительную роль. Она спасла картины и подарила Русскому музею. Перед нами портрет слушающего собеседника — душевный мир незамутнен и ясен, а облик полон прелести и изящества. За наимением холста портрет написан на переднике дворника. Другого, близкого Филонову человека — Велемира Хлебникова, назовут «священником цветов».

Вера в мировой расцвет была связана с верой в бессмертие человеческой души. Еще в манифесте «Интимной мастерской живописцев и рисовальщиков «Сделанные картины» было сказано: «могучая работа над вещью, в которой он (художник — В. Л.) выявляет себя и свою бессмертную душу... мы первые открываем новую эру искусства... и на нашу родину переносим центр тяжести искусства, на нашу родину, создавшую дивные храмы, искусство кустарей и иконы». Филонов, один из лидеров русского авангарда, выступал антагонистом нового искусства Запада и его лидера — Пикассо, не находя в нем «революционного значения».

Виктор Шкловский, увидевший цикл «Ввод в мировой расцвет» в 1919 году на выставке в Зимнем, усмотрел в картинах пафос великого мастера.

В сложной, трехчастной взвихренной «Формуле петроградского пролетариата» сквозь перекрещивающиеся токи и конструкции нагромождений, купаясь в восходящих потоках рассыпающейся геометрии, прорываются познающие и молящиеся лица и люди, животные; дома, группирующиеся в башни. Вырастает человеческая фигура с расслаивающимся на многие большезлым лицом — «единица». Филонов учил: «Точка — это единица действия, а единица может быть разной величины».

Целое состоит из множества точек, а каждая точка может стать обобщающим целым.

Перед нами формула движений и связей.

Фигуры времени возникают на картинах художника: рабочий, колхозник с истовым, печально-задумавшимся лицом; механик, шкет-изобретатель. В тридцатые годы Филонов рисует грустное лицо Ленина, его фигурку на фоне красных и синих линий электросистемы («ГОЭЛРО»). Ленин, как пахарь на расцветающем поле. Сосредоточенно-недоумевающие

лица людей в цилиндрах,— лица буржуазии? Едино устремлен солдатский ряд рабочих с молитвенно сложенными руками.

Художник пытается всмотреться в мир человечества. Массы людей — протестующие, движущиеся к какой-то цели, люди со множеством незанятых рук...

Иные рисунки и акварели художника выглядят пиктограммами. Знак у него носитель определенного символа. В «Формулах» пластика знаков соединяется с конкретной реальностью, представляя явление только ему присущей красочной характеристикой.

В один прекрасный момент неумолимо встает между художником и пролетариями, строящими социализм, некто, затянутый во френч или тужурку, безапелляционно осуществляющий политику власти в области искусства. И когда Филонов предподносит в «Дар Пролетариату» свои картины, их ставят лицом к стене запасника. Художник знает: даже повернутая к стене, картина излучает, но утешение это слабое.

Власть захватила «изосволочь». Не совпадали цели, разнился образ жизни, даже язык не был родственным. Собратья по кисти оказались зайцами, храбрыми лишь во хмелю.

Начиная с «Петроградской ночи (Налетчики)» звучит в картинах Филонова тема налета. Унижения и запоздалого гнева. Насилия и порабощения.

Распластанные, сшибленные люди. И — уже поднявшиеся, стряхивающие первую изморозь оцепения, негодующе протирающие руки. Сквозь людей прорастает событие, таящее в себе опасность. Мотив побывавших и ежечасно могущих вернуться зверей.

Филонов оказывается в вакууме. Изосволочь, изощряясь, ограждает его от выставок и от минимальных средств к существованию. Оказывается, самым опасным в страшном ряду: Сталин, Берия, Ягода, Ежов (цепная реакция зла) — является именно он — Ивасенко, человек во френче, спец по искусству, зам. директора Русского музея. Его слова импонируют той эпохе: «...я разъяснил партийным кругам (читай — донес. — В. Л.), что искусство Филонова отрицательное явление, ...что оно непонятно. Я поднял против него советскую общественность. Его искусство — контрреволюционно». И пошли по партийным кругам — круги.

Тюремные двери запасников гулко захлопывались за картинами Филонова. Люди режима тешили себя спецхранами и спецзапасниками. Поносить в печати опального художника стало признаком хорошего тона. Преподавать ему запретили.

Филонов никогда не сомневался в своей правоте. Был искренен, честен и негибам. Слова Хлебникова: «Родина

сильнее смерти» могли бы стать его девизом. За границу уехать не мог — только у себя дома был нужен. Голодал, но картины за рубеж не продавал, считая зазорным. Все — в Дар Пролетариату: «...сделать... выставку в городах Союза и Европейских центрах и сделать из них музей аналитического искусства».

Он, «беспартийный большевик», мог эмигрировать лишь внутрь самого себя, абсолютно уверенный в том, что «...ведет подпольную революционную работу в области творчества», что пролетарии его понимают. Когда в 1929 году созвали для осуждения его готовящейся выставки рабочих-передовиков, — те, вопреки ожиданиям организаторов травли, осуждать не торопились. «Рабочие сами, — говорил один из выступавших, — смогут расшифровать искусство Филонова». Подтверждалось убеждение мастера, что «Художник-пролетарий должен действовать на интеллект своих товарищей пролетариев не только тем, что им понятно в нынешней стадии развития». Конечно, ивасенки приходят и уходят, а народ остается, но остается он в меньшем количестве, потому что ивасенки шагают лестницей, чьи ступени сложены из трупов. Народ остается в замкнутом кольце страха, а ничтожный червь большого аппарата говорит от имени народа и решает за него. И художник-пролетарий обречен на голодное существование. Из дневника за 1935 год: «...жил только чаем, сахаром и одним кило хлеба в день. Лишь один раз я купил на 50 коп. цветной капусты да затем, сэкономив на хлебе, купил на 40 к. картошки, «раскрасавицы картошки». Дней за десять до 30 августа, видя, что мои деньги подходят к концу, я купил на последние чая, сахара, махорки и спичек и стал, не имея денег на хлеб, печь лепешки из имевшейся у меня белой муки... спек утром последнюю лепешку из последней горсти муки, готовясь по примеру многих, многих раз — жить, неизвестно сколько, не евши». Он сам шьет себе рубахи, штаны, обувь. Картины пишет чаще всего на бумаге и картоне, денег на холст и хорошие краски не было.

Сын прачки и кучера, Филонов с детства научился переносить лишения. Когда в молодости путешествовал в Италию, Францию, Иерусалим — за кусок хлеба раскрашивал вывески и заборы. Что думал он, вырисовывая сталинские усы на портрете для клуба балтийских моряков? Какие чувства владели им? Отвращение или спокойствие талантливого человека, рожденное отвращением от злобной суеты мира? Тоненькая светлая ниточка дара в сплошном мраке и человек, еле лоящийся ослабевающими руками ускользающий лучик — а все же бредет и бредет, не зная и не теряя надежды.

Были арестованы близкие ему люди. Повесился в тюрьме любимый ученик. Убили Кирова — в дневнике появляется болезненный вскрик. Началась война. Филонов жил, как все

честные ленинградцы. Когда сестра предложила запастись провиантом, ответил резко: «Если такие люди, как вы и мы, будут делать запасы, это будет преступление». Всю жизнь он жил под знаком совести. Гордо, без тени всепрощения, не примиряясь с жирной властью и изосволочью.

Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг, на рынок.
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок.
(В. Хлебников)

Но прибор набегал все сильнее и постоянно бил его о камни...

В лихую военную годину художник не прекращал работы, гасил бомбы-зажигалки, заботился о близких. Последние четыре картошины отнес сестре. И в декабрьские дни 1941 года умер.

четвертован
вулкан погибших сокровищ
великий художник
очевидец незримого
смутьян холста.

(М. Крученых)

Голым он пришел в этот мир, нищим жил в нем, едва ли не голым положили его в сырую землю. В своей интересной статье о художнике Александр Васинский рассказывает, что Союз художников оказал единственную услугу Филонову: дал девять досок на гроб. Таково благородство палачей: вгоняя в гроб, они еще и стучат молотком, забывая последние гвозди.

«Настояны судьбой филоновские соты...» (Андрей Вознесенский). Поэты всегда понимали творчество художника. Может быть и потому, что он и сам был поэтом. Во всяком случае Хлебников хвалил его стихи. Художник М. Матюшин писал о книге «Проповень о проросли мировой»: «Как бы коснувшись глубокой старины мира, ушедшей в подземный огонь, его слова возникли драгоценным сплавом...»

Холодом тихой кромешности отмечены иные картины. Подземный огонь бликует на фигурах королей. Кажутся раскаленными каменные кресла. «Художник написал пир мертвых,— замечал Хлебников о «Пире королей»,— пир мщенья. Мертвецы величаво и важно едят овощи, озаренные подобно лучу месяца бешенством скорби». Мертвые короли, мертвый шут, мертвый философ. Короли—идолы, которым мажут губы кровью. Отслужив свою идольскую службу, сходятся

они за столом, предаваясь бешенству скорби о былом могуществе.

Девять дней, пока не было досок, лежал мертвый художник под этой картиной. Короли пировали. Радовались упыри. Закрылись вишневые глаза непокорного человека, которые могли, не отрываясь, долго смотреть на солнце.

На автопортрете крепкая крупная костлявая рука обхватила голову, в которой, восхищаясь и отчаиваясь, вращался его интеллект, стремившийся подарить людям то незримое, что сделает их жизнь прекрасной и расцветающей.

Саша Соколов

ПАЛИСАНДРИЯ *

И еще о театре. Как-то раз, проводя свой зимний досуг на берегах одного из фиордов той непривычно продолговатой страны, где местная публика на загляденье размахисто ходит по воду на лакированных длинных планках с загнутыми вверх концами, и где отсутствие новомодных средств связи делает эту идиллическую картину совсем пасторальной, я свел знакомство с довольно известным французским подданным ирландского происхождения. Закоренелый авангардист, Беккет — так звали рассматриваемого господина — жил и творил в том же самом шале санаторного типа, где жил и творил автор строк, разве что этажом пониже да в номере поскромней.

«Зовите меня Самюэль», — насупленно рекомендовался он, подойдя ко мне в лобби шале. И добавил: «А вы — такой-то?»

Не став отрицать, я не стал и гадать об источниках его осведомленности. К той зиме я сделался исключительно славен. Мои сочинения стояли на полках даже колбасных лавок, и только совсем уж неуважавший себя журнал не пестрел моими портретами. День же неумолимо клонился к ужину.

«Знаете что», — осмелел Самюэль, — «отчего бы нам не отужинать вместе?»

Его предложение было принято.

Не питая особых надежд на то, что когда-нибудь эти записки признают учеными, не могу, тем не менее, не отметить: съестные способности гомо сапиенс разительно превосходят умственные. Пищеварительный тракт клинического идиота, беромого в интервале событий с пеленок до гробовой доски, приводит к единому знаменателю столько вкусной здоровой снеди, что осмыслить истинное величие катастрофы не в силах никакие ферми. Иными словами, помимо яиц от Амбарцумяна мне за годы послания привелось отведать такую прорву разнообразнейшей кулинарии, что вспомнить, что, где и когда было съедено, не всегда удается. Короче, я не берусь утверждать, чему — кроме скотча и крем-брюле — воздали

* Отрывок из романа.

мы с Беккетом должно «У Къркегора» — так называлась ближайшая от нашего шале ресторация.

Внимательно изучив меню, мы уведомили официантов о принятых нами решениях. В залах было натоплено, но Самюэль оставался в пальто.

«Нездоровится?» — бросил я.

«Застарелая лихорадка, fièvre.»

«Что же вас привело в Норвегию?»

«Ибсен. Гамсун. Отчасти Григ.»

«Не спросить ли глинтвейну?»

«Я не любитель.»

«А может, хотите грогу?»

«Мерси. Лучше виски.»

«Сейчас принесут.»

«Шире шаг, ленивый Джон Уокер», — сказал драматург. — «Пошевеливайся».

«Я слышал, вы балуетесь переводами?» — полюбопытствовал я.

«Так, слегка.»

«Почитайте из лучших.»

Он закурил. Бармен принес литрового «Джонни Уокера», откупорил и ушел.

«Невежа», — сказал ему вслед Самюэль. Он налил в оба стакана и выдавил в свой поллимона.

Мы выпили. Неспеша драматург прочитал три-четыре стиха в переводе с английского на французский, а после их же в обратном. В камине горели поленья.

«Недурственно», — молвил я.

Он не ответил. Видно было, что его что-то мучает.

«Вам полегчало?» — спросил я Беккета.

«Вне сомнений».

«Однако я вижу, вас что-то мучает».

«Мучает?» — переспросил Самюэль, пораженный моей пронизательностью. Выглядел он угловато, сурово, несимметрично, словно только что от Пикассо. Пальто, пошитое в первой четверти века у какого-то прикладного кубиста, усиливало иллюзию.

Подали первое.

«А пожалуй, вы правы», — сказал Самюэль. — «Что-то мучает».

«Как то?» — Я затолкал салфетку за воротник.

«Я, наверное, понял, что заблуждался. Вернее, не я, а Годо. Вы смотрели?»

«Многажды. Впервые — в Монтевидео. Потом в Барселоне, в Афинах, в Цюрихе, на Галапагоссах. Не перечать.»

«А в Рейкъявике?»

«О, Рейкъявик, еще бы! Там ведь прекрасный английский театр. Вас обносят напитками сами актеры, по ходу дейст-

вия. Разумеется, можно и закусить. Чертовски комфортно.

«А как постановка?»

«Наслаждался каждой минутой.»

«И декорации тоже понравились?»

«И декорации, и костюмы, а свет — сплошная феерия.»

«Тем не менее», — сказал Самюэль, — «мой Годо никуда не годится.»

«С чего вы взяли? По-моему, вещь на ять.»

«Он поступает бестактно.»

«То бишь — не поступает никак?»

«Абсолютно.»

«Что ж, в данном случае он, очевидно, неправ», — согласился я. «Некрасиво. Публика ждет, надеется, а ему хоть трава не расти.»

«Шокинг», — кивнул Самюэль. — «Моветон.»

Принесли второе.

«Скажите», — сказал он мне, — «разве кто-нибудь из главных героев того же Ибсена позволил себе хоть единожды не возникнуть, не выйти к рамке?»

«Импосибль», — отозвался я. — «Такого героя просто неверно бы поняли. Вообще, удивляюсь, как вам еще верят. Вернее, не вам, а в него.»

«А я что ли не удивляюсь!» — сказал Самюэль.

Мы пригубили.

«Я устал», — доверительно заговорил драматург. — «Я устал удивляться. Устал от того, что Годо не приходит, а зритель и персонажи наивно верят, что он придет. Я устал ждать его вместе с ними. Я стар, одинок, бессонен. Я вдрызг устал от Ирландии, Греции, Франции, от Бенилюкса и Австро-Венгрии, от Канады и Кипра, от Африки и Латинской Америки. Вы понимаете, что я имею в виду? Это ж надо так изолгаться, извериться.»

«Вы устали», — ответил я. — «Вы изъездились.»

«И тогда я приехал сюда, к Ледовитому океану, на край всего, чтобы придумать другой конец. А точнее — дописать «Годо» до того момента, когда он все-таки соглашается прийти. Вообразите-ка: быстро входит Годо, медленно доедая яблоко. Это ремарка. Авторская ремарка. Вам нравится? Каково?»

Беккет казался предельно взвизрен.

«Задумка сама по себе недурная.» — Я выдержал паузу.

«Только не лучше ль наоборот: входит медленно — ибо с чего бы ему торопиться — а доедает стремглав, ибо голоден.»

— Лучше», — сказал Самюэль. — «Много лучше. Я переделаю. Обещаю.»

И тут принесли десерт.

«Послушайте, а зачем тут яблоко?» — был мой вопрос. — «Не слишком ли оно лобово и глобально?»

«Да, но как же иначе», — ответил официант. — «Крем-брюле-то ведь яблочное, с цукатами.»

«Я — не вам», — объяснил я официанту.

«Пардон», — извинился тот.

«К дьяволу яблоко», — молвил Беккет. — «Вы — умница, Палисандр.»

«Если ж идти до конца», — тыкал я вилкой в его блокнот, куда он едва успевал записывать то, что я ему диктовал, — «то Годо не дано возникать ни быстро, ни медленно, так как он может возникнуть одним единственным образом. Набросайте-ка: снисходительно входит Годо.»

«Снисходительно!» — эвристически закричал Самюэль на всю ресторацию. — «Снисходительно! Гений!»

На нас оборачивались.

«От гения слышу», — сказал я ему тактично. И отчетливо проговорил на всю залу: «Э-э, будьте добры, будденброков с икрой пожалуйста.» И хотя в меню их не наблюдалось, были принесены.

Мы добились надменного «Уокера», расплатились визитными карточками и вышли в норвежскую ночь — ночь Ибсена, Гамсуна, Грига, ночь Олафа Пятого и Шестого. Мы были пьяны как художники — вдохновенно, и все мыслимое и немислимое вне ее — перед лицом ее — на лице ее фона — на фоне ее лица — представало посредством до удушья. А над ее оркестровым провалом, зайдясь в немом исступлении, махал опахалом нордического сияния невидимый дирижер-вседержитель. О, как распахнуто чаяла щупальцев какого-нибудь грандиозного головоногого виртуоза клавиатура фиордов, украшенная беспорядочным нагромождением скал! Причем веками, веками!

Александр Хорт

ПРИНОСИЛИ УЖИН (Андрей Битов)

...и, поколебавшись, мальчик намазывал хлеб маслом с обеих сторон, ибо его тянуло к устойчивости, и если одно было так, другому надлежало быть по-зеркальному иначе, а поскольку он неуклонно мужал, ему приходилось постоянно впадать в детство, и на работе мальчик загорал, зато на даче вкалывал, превращая сбор клубники в бесконечный ритуал, а если на службе получал выговор, то сначала бродил по дому в легкой депрессии, однако потом неземным усилием воли заставлял себя устроить Еве дикую взбучку, с забавной старательностью топал ножками сорок шестого размера, как бы останавливая время и одновременно раздвигая пространство таким образом, что его лапушка еще теснее прижималась к плите, а сам он, усталый, довольный, ложился на прабабушкины перины, объясняя это тем, что ему необходимо догреть вестибулярный аппарат, и на завтра являлся в Трою опять уравновешенным, однако в такое удавалось далеко не всегда, и однажды, обнаружив себя не в своей летающей тарелке, мальчик для изменения статуса-кво начал с эдакой дружеской грубоватинкой лить чернила на лысину начальника и лил — буль-буль-буль — несуетливо приходя в норму, и вот он уже вышел из крена, пора остановиться, однако мальчик поймал в себе интерес к этому будничному занятию и даже осудил себя за него, а пока суд да дело, лениво покосился на начальника оценивающим взором и внезапно увидел, что тот буль-буль, и атавистическое чувство жалости к его неустроенности хомячком шевельнулось в мальчишке, и похожие на О уши, и прогрессирующая дальновидность, и молодящийся волос на макушке — все было донельзя трогательно, вселяло какое-то ласковое — буль-буль — к сожалению, неясно о чем, как на первых вечеринках с девочками, неудачных по форме, но противных по содержанию, и это было не просто симпатией, а сентиментом, хотя сентиментальность в отношении начальников перестала ему казаться

чем-то предосудительным, когда появился собственный начальник, а чернила тут исчерпались, однако мальчика уже перекосило в другую сторону — им овладело нестерпимое желание создать произведение о современности, поэтому мальчик подтянул штанишки, взял велосипедный руль и врезался в самую гущу жизни, обдав брызгами незнакомого человека с браслетом на запястье, который он принял за часы и решил узнать точное время, а мужчина растолковал, что на руке у него компас, и тогда мальчик, не колеблясь, попросил сказать ему, где север...

В ЧУЖОМ САДУ РАЗДУМЬЕ

(По мотивам произведения Даниила Гранина
«Сад камней»)

Романтик Фока нечто чувствует.

Даже мой дедушка, который после завтрака всегда где-то шлялся, не был в Стране восходящего солнца. Из моих знакомых я первый очутился в этом малоизвестном государстве. Чувствуется, оно состоит из киосков, рынков, лавочек, аукционов, купли, продажи и Семы Никулина, которого я случайно встретил в Киото.

Рационалист Семен проникает в суть вещи.

Я так надеялся поработать с остальными научными сотрудниками на овощной базе, но, увы, кафедра послала меня в Японию. Это индустриально-аграрная страна, слабо, ох, слабо обеспеченная полезными ископаемыми. Она состоит из виадуктов, заводов, газгольдеров, эстакад, стапелей, электричек и иностранца Фоки Глебова, который попался мне в субботу по местному времени.

Ф. Глебов

В субботу был икебанный день, и я направился посозерцать небезызвестный Сад камней. Это обычный сад, только из камней. Они, естественно, высекают из человека искры мыслей, некоторые особи навяли мне мысли о многогранности, другие — что кто-то должен... Я дивился мудрости, заключенной в каменных джунглях, пока не почувствовал, как пожилой японец ласково дал мне пинка: «Это не сад, а склад строительной фирмы. Сад камней находится напротив».

С. Никулин

В полемическом задоре население Японии утверждает, что с одного места в Саду можно разглядеть лишь четырнадцать камней из пятнадцати возможных. Я с ходу опроверг эту ак-

сиому: насчитал пятнадцать. Проверили с моим оппонентом Конeko-саном.

— Нет,— загорячился он,— пятнадцатый не камень, пятнадцатый ваш соотечественник Фока-сан.

Иду проверить.

Ф. Г л е б о в

Я сидел в состоянии нирваны, когда почувствовал ласковый пинок. Оборачиваюсь — конечно, Семен.

С. Н и к у л и н

Встречу решили sprysнуть в чайном домике. Можно было без всяких церемоний закатиться в ресторан и покалякать с гейшами, они для того и служат, чтобы вести беседу, поддерживать компанию, следить за регламентом, делать им больше нечего. Но со всей этой музыкой прекрасно справился мой друг Фока Глебов.

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В БУТЫЛКЕ

Виктор Конецкий

Нос т/х «Фоминск» на переходе Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. 1908-е сутки в рейсе. Туман. Который век? Которой эры? Это я Вознесенского не перефразирую.

Кстати, каждый раз, когда стою вперёдсмотрящим, мне чудится, будто сижу в театре и смотрю постановку, которую не понимаю. Торчу в первом ряду, таращусь в бинокль и все равно ничего не понимаю. В отчаянии переворачиваю бинокль другой стороной, но и тогда не понимаю.

На сцене — вода. Сегодня она исполняет гад морских надводный ход. Это я Пушкина перефразирую. Из-за кулис появляется терпящий бедствие корабль. Встречаю его игру бурным аплодисментом. Он, миляга, трогает меня за душу до такой степени, что кричу ему: «Браво! Бис!» На поклоны корабль не выходит. Над сценой сгущается туман.

В антракте передо мной возникает капитан последнего ранга. Он надел в театр выходную тельняшку. Чтобы казаться повыше ростом, он нацепил ее полосками вдоль тела. Выпендривание производится ради его пассивности Галины, пленившей капитана своими кокетливыми татуировками. Мое эстетическое чувство татуированные женщины оскорбляют, хотя, не могу не признать, у Галюнчика, как он ее ласково

называет, наклейки по-настоящему красивы. Особенно на щиколотках.

Ни с того ни с сего он начинает энергично аплодировать и задевает ладонями мое лицо.

Очень кстати из оркестровой ямы появляется наш судовый эскулап. Прежде чем доверить свое собственное тело, тестирую его на спецпригодность, говоря, что от него пользы, как от козла молока. Это я Габриэлу Мистраль перефразирую. «Не пори чушь!» — орет он в истерике. Значит, разбирается.

Кстати, потом выясняется, что моего исцеления он достиг совершенно жульническим способом — у него имеется диплом ветеринара.

Кстати, мне кажется, если бросить мою рукопись в какой-нибудь Бермудский треугольник, то у нее не меньше шансов дойти до читателя, чем если бы отнести ее в редакцию. Сейчас выпущу джина из бутылки и внутрь засуну бумагу. Размахнувшись, положу бутылку в дрейф, а сам побегу в каюту, ибо:

«С моего прозаического языка уже начинает капать поэтическая высокопарность Григория Поженяна», — как сказал бы Джозеф Конрад.

Сергей Панов, Николай Шептулин

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

(пьеса в стихах)

Действующие лица:

Вакх Циолковский — граф.

Семен Давыдов-Зильберман — графоман.

Аполлонский — гетман.

Бельведерский — конь его, которого изображают Матвей и Матфей.

Борис Годунов — дворник графа.

Ликеров — слуга.

Мадам Развари.

Чугун — прапорщик, помощник гетмана.

1914 год, Россия, Западная Украина.

Сцена 1

Степь, походный лагерь, горят костры. Из темноты появляются гетман и прапорщик.

Гетман: Послушай, брат: все ближе немец...

Прапорщик: Один?

Гетман: Их тьмы, и тьмы, и тьмы.

Хоть пушки есть и разные снаряды,

К восходу нужно быть далече.

Прапорщик: Как?

Гетман: Болван, коня веди!

Хоть востры сабли и тверда рука,

Я верной гибели здесь не намерен ждать!

Народ безмолвствует, чего его жалеть?

Бездарный полководец был Барклай...

Прапорщик: А Жуков?

Гетман: Не успел еще родиться,

Пора и нам, браток, поторопиться...

Входит конь

Конь: Пора?

Прапорщик: А егерей с собой берем?

Гетман: На лошади одной не поместиться.

Скорей в седло, пока они все спят!

Прапорщик: Но как пройти патруль?

Гетман: Мы скажем им, что едем на охоту.

Прапорщик: Как, без ружья?

Гетман: Возьмем с собой мортиру.

Прапорщик: Не сдобровать наутро бригадиру...

Едут в темноте

Прапорщик: Седло скользит.

Конь: А мне, неужто, легче?

Появляется часовой

Часовой: Пароль каков?

Гетман: «Нет счастья на Земле».

Часовой: Ты прав.

Однако ж, куда собрались вы?

Гетман: Стрелять бурундуков.

Уезжают

Часовой: На небе ни звезды,

А эти все туда же...

Сцена 2

Обсерватория в поместье графа. За столиком сидят Циолковский и Давыдов-Зильберман.

Циолковский: Вот давеча ты говорил вчерась...

Входит слуга Ликеров

Ликеров: На небе ни звезды...

Циолковский: Вот так всегда,

Пора обсерваторию ломать...

А знал бы брат,

Сколь вложено в нее народного труда.

(Слуге) Что за стаканы, ты, подлец, принес?!

Мне из граненых пить не доводилось!

Ликеров: Хорошие все дворник утащил.

Циолковский: Ты барину противоречишь, пес?

(Давыдову-Зильберману) О чем ты говорил мне, милый друг?

Давыдов-Зильберман: Тут давеча Венера восходила,

Далекое безлунное светило...

Ликеров: Уж немец на дворе...

Циолковский: А звезды, вот, другое говорят.
Ликеров: Так их не видно двадцать дней подряд.
Циолковский: Тогда обсерваторию снесите...

К чему нам этот храм?

Ликеров: Но, барин, меня большее тревожит...
Уже низложен император польский...

Циолковский: Подай-ка лучше нам «Посольской»
И не перечь мне больше, хам!

Слуга уходит

Циолковский: Каков? Так мы на чем остановились?

Давыдов-Зильберман: Я говорил, что недоступна правда
людям,
Вот у Платона я читал.
Что люди, вишь ты, гибнут за металл...
И не пойму, что людям не живется?
Вокруг все движется, цветет, а им
неймется.
Планета наша вертится в пространстве,
Животные и тварь — все пребывает
в ней,
Непредсказуем ход мирских идей
В благословенном этом царстве...

Циолковский: Но звезды на небе как будто поредели?
Неужто это знак?
(прислушивается) Но что за шум я слышу
за стеною?

Во двор вбегают вооруженные немцы. Ведут разгоряченного гетманского коня, тот фыркает и ругается. В обсерваторию входит дворник Борис Годунов в форме немецкого солдата.

Борис Годунов: Вы, милый барин,
Как бы и сказать,
Низложены, товось...

Циолковский: Борис, ты ж верно мне служил!

Борис Годунов: При вас был дворником, ан выйду в генералы!

Циолковский: Ну вот, теперь и немца угощать...

Борис Годунов: Должен приказ вам огласить
Ерманских командиров,
Что русский, мол, язык
Сказали прекратить...

Циолковский: Так будем по-французски говорить.

Борис Годунов (в недоумении): Прикажете идтить?

Циолковский: Ступай, предатель!

Дворник уходит

Циолковский: Продали Рассею...

Давыдов-Зильберман: Забыли, чай,

Толстого с Достоевским,
Придется Фауста читать
И прочих немцев.

Циолковский: Я предлагаю тост за Государственную думу,
За Пуришкевича, Родзянку и т. д.

Давыдов-Зильберман: Я за кадетов с вами пить не буду,
Элагите, Фратерните и Либерте!

Сцена 3

Слуга идет с подносом по саду. Вдруг из-за куста появляется гетман и прапорщик.

Прапорщик: Зи дахин шпацирен?

Ликеров: Еще пока не немец я...

Гетман выбегает и обнимает его

Гетман: Видать, судьба, что русского встречаем!

Ликеров: Кто вы?

Гетман: Я гетман Аполлонский,
Мы сбилися с пути,
Наш конь сражен в бою...

Ликеров: Не тот ли, что на двор наш привели?

Гетман: Что, жив мой Бельведер?!

Ликеров: Жив, жив, и надо вам сказать,
Ругается изрядно,
Все требует овса...

Гетман: Мы патриоты русския земли,
Нам, стало быть, укрыться где-то надо...

Ликеров: Что ж, знаю я одно местечко,
Идти тут будет недалечко.

В обсерваторию входят Ликеров, прапорщик и гетман.

Ликеров: Вот, барин, беженцев привел,
Все патриоты, вот ей-богу!

Циолковский: За стол, за стол сажай!
Приятно видеть русскую породу...
(гетману) Кто будешь ты таков?

Гетман: Я гетман, атаман,
А это прапор мой.
Мы якобы в бою бесславно пали,
На самом деле сохранив себя
Для славныя отечества защиты...
Вам предлагаем мы подпольную борьбу.

Давыдов-Зильберман: Ярмо немецкое мы непременно
сбросим...

Циолковский: Теперь к столу мы вас откусать просим...

Давыдов-Зильберман: Надеюсь, вы наш друг, славянофил?

Гетман: Не знаю слов таких, но родину люблю!
Ноги германской здесь не потерплю!

Входит Борис Годунов

Борис Годунов: Приказано сказать,
Что, мол, привычки русские нам нужно
отменить.

Прапорщик: Так, стало быть, не пить?

Циолковский: Не либеральничает с нами немец.
(слуге) Ну что ж, раз так, то водку убери,
И принеси-ка рейнского вина,
А папиросы, я надеюсь, можно?
Да и скажи, чтоб не шумели,
Мы будем тайный здесь совет держать...
Борис Годунов и Ликеров уходят.

Давыдов-Зильберман: Прекрасно в нас веселое вино...
Однако ж к делу, к делу!

Все садятся за стол

Циолковский: Я предлагаю план,
Как свергнуть канцлера Вильгельма...
(прапорщику): Ты двинешься в Берлин
И подожжешь Рейхстаг...

Входит Развари в папaxe и русском платке

Мадам Развари: Я вам не помешала, господа?

Циолковский: Позвольте вам представить патриотку,
Она проверена, давно у нас в гостях.

Гетман (уступая стул): Садитесь, я, пожалуй, постою!

Прапорщик: Позвольте я, мне все равно в Берлин!

Мы над Рейхстагом водрузим

Голубоглазый русский стяг...

Мадам Развари садится на его место, прапорщик берет
стакан

Мадам Развари: Так что же, господа?

Прапорщик: Мне кажется, германцы — ерунда!

Давыдов-Зильберман: Их римляне когда-то захватили...

Гетман: Так нам ли вдруг сробеть?!

Давыдов-Зильберман (обращаясь к Развари): Позвольте вам
вина налить.

Гетман: Нет, нет, давайте я!

Наливают друг другу вино

Циолковский: Однако, мы обратно отвлеклись,
Я призываю к воплощению пункта!

Давыдов-Зильберман: Поджог Рейхстага, мыслимое ль дело?

Прапорщик: Так спички есть у нас.

Гетман: И даже есть мортира!

Циолковский: Не приступить ли к взятию Берлина?
(обращаясь к Развари) Вам не угодно будет
закурить?

Выдергивает из-за пазухи папиросы

Гетман: Махорка знатная в кармане у меня...

Подает ей кисет

Прапорщик: А нашенских, быть может, не хотите?

Вынимает из кармана «Герцеговину Флор»

Мадам Развари: Не знаю как и поступить мне, господа!
Все хором: Берите!!!

Мадам Развари: (обращаясь к Давыдову-Зильберману.)
У вас немецкие?

Позвольте, я возьму.

На редкость тонкий вкус.

Давыдов-Зильберман: Захватим кельнские табачные заводы...

Циолковский (мечтательно): И будем ездить отдыхать
На мюнхенские воды...

Прапорщик: Я смачно плюну в Рейн!

Давыдов-Зильберман: Мой милый Рейн!

Мой Рейн бесценный!

И я судьбу благословил...

Циолковский: Постой, поэт наш вдохновенный!

(обращаясь к Развари) Тут у меня салат
отменный,

Хотел бы предложить

Вам в меру сил...

Все хором: Позвольте мне вам положить!!!

происходит сражение ложек

Сцена 4

Конюшня, входит Борис Годунов

Борис Годунов: Овса? Опять овса?

Матвей и Матфей скидывают с себя шкуру коня

Матвей: Овса!

Матфей: Овса!

Борис Годунов падает от изумления в обморок

Сцена 5

Дверь в обсерваторию открывается, вбегают Матвей
и Матфей

Александр Малюгин

ЖЕРТВА, ИЛИ КАК ПАРАМОНОВ УБИЛ ПЕТУХА

Во власти Парамонова было два живых существа — дочка Алина и петух.

Маленькой Алина в безлунные ночи бродила по дому и в кухне, под столом, кормила чуть ли не с ладоней бесшумный выводок мышей. Нагулявшись, затаскивала в постель к родителям каких-то привидений и нянчила их до утра, мешая спать.

Парамонов считал: вина жены. Научила дочку читать в четыре года — и у той непомерно разбухло воображение. К пятнадцати годам Алина настроила себе всяческих фантазий про жизнь. И тем страшнее был для нее удар, когда осенью мать попала под КАМаз, везший панели для будущего детсада.

А Парамонов, как водится, запил. Однако под Новый год проявил силу воли и наглухо завязал. И купил в утешение дочери петуха. Поселил его на кухне. Но Алина разревелась, когда птица вдруг истошно завопила в унисон с курантами, и Парамонов был вынужден переместить петуха в давно пустующий курятник. А с началом Нового года, разобрав елку во дворе, вернулся к письменному столу и снова увяз в своей истории.

Он увлекся ею после войны. Жил тогда на Северном Кавказе, у старшего брата. Его сварливая жена выпихивала приживалу из дому, и младший Парамонов точно бы ушел в бега, но его удерживал первый том дореволюционного издания Карамзина с обгорелой вмятиной на обложке. «Куда я буду ставить утюг?» — неделю бушевала жена брата.

По необходимости Парамонов завел себе тетрадку, куда поначалу записывал историю в своем вольном переложении: «Когда напали на землю русскую татары, весь народ, как один, встал на защиту Отечества...» А со временем, когда дочитав Карамзина, все-таки удрал с Кавказа, поступил в ремесленное и стал более или менее самостоятельным, вдруг начал кроить историю на свой лад. Он передвигал с севера на запад и с юга на восток войска, снимал проштрафившихся

царских сановников, исправлял чьи-то ошибки, издавал новые указы...

К пятому десятку Парамонов добрался до русско-японской войны.

Первым делом его возмутила бездеятельность царского правительства, допустившего перед началом кампании такую крайнюю недостаточность русских вооруженных сил на Дальнем Востоке. На полях сражений оказались в основном запасные части и сибирские да забайкальские казаки. Ни горной, ни гаубичной, ни тяжелой артиллерии новых образцов. Никудышные дела с полевой артиллерией, на последнем месте в Европе. На каждую винтовку по норме положено 840 патронов, а в реальности — по 400.

Бестолковость!.. Николая! Куропаткина! Адмирала Алексева!..

По утрам Парамонов тягал на воздухе гирию, насыпал пепел сухих кукурузных зерен, пил чай. Растормошив дочь и оставив ей, как обычно, полтинник на школьный завтрак, бежал на работу. Полусонная Алина неуправляемой, отлежавшейся рукой нащупывала на тумбочке деньги и опускала их в банку из-под соленых помидор, стоявшую под кроватью. В школе она уже давно не завтракала, но ценила эту привычку отца.

На работе Парамонова не то что не уважали, но и не любили особенно. Слесарь он был квалифицированный, пятого разряда, всегда со всеми здоровался, но, как бы сказать... не совсем свойский был мужик. Не пил с бригадой после полудня, напускал интеллигентность. Короче, так-то его уважали, а за спиной говорили, что немного заторможенный. Молодняк списывал это на голодное парамоновское детство, гибель жены. А старые люди, сами прошедшие огонь и воду, полагали, что Парамонов с тем и родился.

Иногда у Парамонова все же устанавливался душевный контакт с бригадой. Когда собирались вместе в курилке (что опять же случалось редко — по 2—3 человека все время маялись на разных объектах). Скурив все новости до последней, обжигающей пальцы затяжки, мужики просили Парамонова сварганить какой-нибудь исторический анекдот. Скажем, из интимной жизни русских царей. Парамонов сплетничать отказывался, но случая выговориться по существу не упускал. Так однажды он развернул перед товарищами собственный план восстания декабристов. Начертил веткой на заплеванном днище беседки схему размещения восставших войск. Но мужики его не дослушали — перерыв кончился. Затапав крамольную схему, они двинулись к недокопанной траншее, на которую их бросили, словно каких-нибудь разнорабочих. Из дымящегося свежего рва то и дело вырывался отъявленный биндюжный мат.

Единственным человеком, которому было все равно, что делать, являлся Парамонов. «Во сколько выступать полкам?» — мучился он, дыша сыростью земли.

Но однажды его размеренной, устоявшейся жизни пришел конец.

После смерти матери Алина не доставляла отцу особых хлопот. «Мышка», — звал он ее про себя. Любила прятаться от отца. Глухонемничать. Но, чужая душа — потемки. Растет в дикости. Сунешь руки — обожжет, как крапива. Парамонов остерегался.

...Началось все с того дня, когда Парамонов, разбирая неудачный для русских войск исход боя у деревни Шисалитеза, услышал истерические крики петуха. Заложив папиросой «Историю русско-японской войны», пошел в курятник. Там он обнаружил Алину. Загнав петуха в угол, дочь лупила птицу кожаным пояском. «Ты чего?!» — Парамонов чуть не подскользнулся на птичьей дерьме. Поймав свистящий пояс, с силой притянул дочь к себе. Очнувшись, та пробормотала: «а че он брешет, как собака», и попыталась освободиться. Парамонов неожиданно хлопнул дочь по щеке. Щека вспыхнула красноватым ожогом. Взвизгнув, Алина бросилась вон из курятника.

Парамонов посмотрел на очумелого, оборванного петуха и сказал ему что-то. Закрывая железную калитку, подержал раскаленную зудящую ладонь на холодном чугуне.

Дверь в Алинину комнату оказалась запертой. А на его стук она не ответила, только прошуршала простыней.

Утром (была суббота) Парамонов купил в универмаге розовое ситцевое платье и долго махал им перед окном Алины, как белым флагом. Одна половинка окна, в конце концов, приоткрылась, и свернутое в трубочку платье прошмыгнуло в щель. Но вскоре розовый ситец выпорхнул и завис на сухом смородиновом кусте. «Оно на три размера меньше, чем надо!» — с ревом выкрикнула Алина и замкнулась на две щеколды.

Под вечер она все же вышла из своей добровольной темницы и буркнула, что идет гулять. Парамонов, вздохнув с облегчением, купил в кондитерском торт «Сказка» и даже простил на радостях генерал-майора Фока — начальника 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, главного виновника неудач русских войск у деревень Шисалитеза и Чафантань.

Алина вернулась часам к одиннадцати. Парамонов помог ей снять синюю куртку с капюшоном, а затем они пили чай и ели торт с переслащенной коричневой начинкой. Парамонов подкладывал дочери трехъярусные пахучие пирамиды и млеп. Жизнь постепенно входила в старое русло.

«Врагу не сдается наш гордый «Варяг»... — пропел Парамонов и засмеялся.

...Он не заметил, как заснула Алина, уткнувшись в разваленные пирамиды. Двумя ладонями бережно поднял ее голову. В очнувшихся глазах дочери медленно и величаво текла голубая река. «Пошел к черту», — сказала дочь и зажмурилась.

«С кем ты пила?!» — возопил Парамонов.

Вытерев ей лоб рукавом, он отнес ее в спальню и попытался снять одежду. Но расстегнул трясущимися руками только две верхние пуговицы на кофточке. Дальше застеснялся, с удивлением обнаружив, что дочь совсем взрослая. «Квиты, квиты, — бормотал Парамонов, глядя дочь по голове. — Ну все, мы квиты...»

Проходили пасмурные дни, начиналось «бабье лето». Выкопали и зарыли всей бригадой траншею, стали рыть новую. И Парамонов стал уже уставать от вспыхнувшей в его отношениях с дочерью нежности. Алина свила себе гнездо на диване в его комнате и болтала не переставая, словно выговариваясь за годы отчуждения и молчания между ними. Она вспоминала мать, ее расстрепанные астрономические карты, телескоп, через который можно было различить цвет далеких звезд. То, как они с мамой швырялись в Большую Медведицу переспелыми черными виноградинами, прошлогоднее лунное затмение. Алина словно вернулась в свое раннее горшочное детство. Но все, о чем она говорила, происходило без Парамонова, и ему было неинтересно это вспоминать. К тому же он всегда проклинал профессиональное увлечение Светы астрономией. Промозглым весенним вечером, возвращаясь домой из школы, она, вероятно, тоже, по привычке глядела в небо...

Парамонов пытался как-то приспособиться. Слушал Алину вполуха и в то же время изучал карту. Но когда стал путать условные обозначения — редуты принимал за форты, укрепления за батареи — хлопнул книжкой и, не сдержался, крикнул:

— Да погоди же, Алина!

Диван скрипнул и затих.

— Погуляй немного. Я должен поработать.

— Мешаю, да? — с обидой спросила Алина.

Парамонов нервно вздохнул, ответил осторожно:

— Нет, но... Всего на часик, а? Порт-Артур... Решающая цель войны.

— И мама тебе мешала, и я мешаю!

Парамонов, сердясь, стал путанно объяснять дочери, как важны для него его занятия. Это своего рода протест. Ведь его напрочь выключили из исторического процесса. Для мыслящего человека — невыносимо. Вместо того, чтобы заниматься ей, дочерью, он разгребает эту грязь, эти завалы. «Все при-

ходится приносить в жертву»,— грустно добавил Парамонов.

И уши прикрыл — так грохнула дверь.

Перед сном Парамонов по привычке зашел к дочери. Свет уличного фонаря обнажал плоскую, как гладильная доска, кровать. Парамонов отдернул одеяло. Под ним лежала смятая ночная рубашка. Он с возмущением взглянул на южную фотографию дочери (Алина стояла на зеленом, в крапинках ракушек волнорезе, в красном купальнике и с бумажной розой в черноте волос). «Чего ж ты вытворяешь, негодная?!» Споткнувшись о пустую трехлитровую банку, Парамонов выскочил во двор.

Шуршали по-змеиному листья винограда на ветру. Стая молчаливых птиц, взметнувшись, обстреляла Парамонова хлопками крыльев.

— Алина! — в смятении закричал Парамонов. — А-ли-на!

В ответ ему затанули собаки.

Ночь была прохладной. Парамонов вернулся в дом и позвонил в милицию. Он описал портрет дочери по ее южной фотографии. «Да, и еще,— вспомнил Парамонов,— шесть или семь родинок на спине».

Родинки были копией какого-то созвездия, об этом часто говорила Света, какого он начисто забыл.

«Будем искать,— ответил дежурный. — По звездам.»

Парамонов сел на кухне возле телефона и стал смотреть на свои короткие кривые ноги с желтыми крошащимися ногтями. Опять напилась?

...Он проснулся, когда уже начало светать. Кинулся в комнату Алины. Трехлитровая банка с невнятным бормотанием откатилась под кровать. Алины не было.

Парамонов вдруг отчетливо представил, как, задрав голову к небу, Алина лежит на шоссе. Но тут же оборвал себя. В эту ночь не было звезд.

Покружив бесцельно по двору, он остановился у курятника. Глупая птица бесстрастно таращилась в недра голого сада. «Все из-за тебя»,— сказал Парамонов и в досаде пнул по решетке. Петух отпрыгнул в сторону и недовольно потрепыхал крылышками. «Не нравится?» — Парамонов пнул еще раз. Петух сорвался на оглушительные паникерские крики, и Парамонов, зарывав, распахнул курятник, чтобы утихомирить обнаглевшую птицу. Но петух в безумии вдруг бросился хозяину на грудь...

Выскочив из курятника, разъяренный Парамонов плюнул сквозь решетку на петушиный всклокоченный гребень. «Гад»,— сказал Парамонов и пощупал свой левый израненный сосок. А затем осторожно приоткрыл железные ворота. «Цып-цып-цып...» Петуха приглашали выйти. То ли помериться в честном бою, то ли... Петух долго с подозрением косился на хозяина и, наконец, высунул головку с гребнем на

улицу. И тут Парамонов с силой прихлопнул калитку, и петушиная башка осталась бултыхаться на ветру. Не отрываясь от решетки, ликующий Парамонов пригреб к себе ногой лежащий в полуметре тесак и, обтерев его о штаны, рубанул по петушиной башке.

Туловище птицы отвалилось назад и законвульсировало. А окровавленная голова с резиновым гребнем упала под ноги Парамонову.

Парамонов отпустил калитку, поднял отрубленную петушиную голову и с ненавистью зашвырнул ее в соседский сад.

Александр Сокуров

О ПРОЗЕ АНДРЕЯ ЧЕРНЫХ

Иногда мне кажется, что Андрей похож на ежа.

Андрей — очень милый человек, и не иголки отличают этого ежа, а присущая, наверное, только этому существу, особая сосредоточенность и внимание к течению жизни, особое расположение к трудолюбию и трудолюбием рожденный талант.

Андрей — кинорежиссер игрового кино с ярко выраженным литературным даром.

Мне кажется, что в кинематографе он начинает работать с листа, со слова, с драматургической коллизии. Замысел фильма чрезвычайно тщательно, опасно подробно описывается Андреем на бумаге. Литературно пережитая ситуация пытается перебраться на экран, где испытывает муки перерождения в нечто другое, литературный язык теряет свою устойчивость под напором визуальной речи.

К сожалению, мои неоднократные обращения в «Знамя», «Юность», «Искусство Ленинграда» в свое время не дали результата. Сегодня — спасибо «Петрополю» и его издателям.

Представлять работу Андрея Черных — это, конечно, честь для меня. Достоинство работы молодого прозаика оценят те, кто, смиряя гордыню, пойдут навстречу автору.

Бог в помощь.

Андрей Черных

АВСТРИЙСКОЕ ПОЛЕ

Умирая, она попросила завести будильник. На девять... Не прозвенел, поскольку в этой улице и в круглом желтом доме, в частности, никто не проживал уже тридцатый день. Пришлось просыпаться в одиннадцать...

В окне распух дневной свет от небесной планеты, а календарь текущих дней изображал сентябрь.

— Я не могу так долго никого не любить! — сказала она календарю, перевернув последовательно четырнадцать страниц. — У меня ведь начинает кожа голубеть и горло засыхает — я хочу любить!

В изящный таз с водой опустила она изящные ноги, прогнула шею ото сна и, словно сдобный хлеб в тугой печи, свернула волос на затылке в крупный узел. Затем на четверть циферблата сместилась стрелка у часов, и лишь тогда пришло другое знание, попроще: вода остыла, ноги замерзают.

— Буду опять умирать! — и она кривой лентой боком заплыла в постель. — Заведите будильник!.. И воду согрейте! Новую!

* * *

В конце августа она вышла наконец на улицу в синем и темном платье, вдохнула кислород и процедила равнодушным прищуром левую и правую перспективы тротуаров. Обнаружила отсутствие людей, густую незнакомую пыль от долгой летней сухости погоды, чугунный диск в подземное жилье со стертой ленточкою букв по кругу и, наконец, — на мелкой шпильке собственные туфли. Тогда она выдохнула использованный воздух, любовно, точно впервые, коснулась ладонями платья у бедер (или бедер под платьем), глянула вверх с робким вопросом и... не смогла улыбнуться в полную силу. Растерялась...

— Я хочу любить! — нежно и требовательно пропела она и ступила на шаг вперед, а затем и еще на шаг.

— Куда я должна идти? — уже речитативом и вовсе не требовательно, но столь же нежно, как час назад, спросила она и, жестом руки ответив себе, учуяла верное для себя направление.

* * *

А в начале апреля глаза у нее из серых вновь стали голубыми, в лопатках не ощущала она ползущий легкий холодок от несмелой пока весны, а пальцы всеми десятью фалангами с какою-то добавочной силой (чтоб не растерять) прижали у плеча слегка помпезный и оранжевый букет, подаренный у покосившейся скамьи шестью часами раньше...

— Ты любишь меня? — спросила она, а давняя привычка отвечать самой себе заставила продолжить: — Не знаю...

* * *

Вернувшись в сентябре домой, она нашла в прихожей сразу девять перемен: упавшее от дряхлости гвоздя, но сохранившееся целым зеркало, ну а оставшиеся восемь перемен, нагнувшись, увидала в отражении...

— Ты любишь меня?

— Нет! — чуть не ответили из трубки.

Ее слегка качнуло от такой «мечты», и, не решившись к телефону подходить, она пристроила к стене запущенное без внимания и света зеркало, присела до колен, уменьшилась от темени в прихожей, коснулась пальцами у переносицы, бровей... и снова поднялась, сморгнула наконец... и вышла из дверей, сказав:

— Не буду умирать!.. Лень! Пойду жить!

* * *

Жить приходилось по-разному, в зависимости от любви: то ее не было вовсе, то она являлась, изобретенная некрепким сном ближе к утру.

Новый теплый сентябрь встречал ее в вагоне разбежавшегося смуглого поезда.

— Алексей Пешков применительно к свету непременно употреблял эпитет «жирный», мне же более по душе — «смуглый», — говорила она соседу по купе.

— Я не поэт, занимаюсь по долгу службы предметными вещами, — отвечал он, — поэтому смуглое у меня как-то сразу ассоциативно приклеилось к цвету кожи.

— А вы не без юмора!

— Что вы, напротив: просто... сказал, что первое подумалось, — сосед был густ и светел волосами, а всем своим видом целиком — интересен.

— Ну а я рискну обнаглеть до предложения, что ваши... кожные ассоциации возникли от долгого наблюдения исподтишка моей шеи и плеч, — здесь она, разумеется, улыбнулась. — Или нет?

Ну а он на это неподдельно и бурно смутился, после произнес:

— Да, возможно и так... Простите.

— Отчего же! Я ведь совсем не в упрек, мне даже в некотором роде... лестно.

— Вы смелая.

— Я-то? Хм... Я, знаете ли, всего лишь... чрезмерно взрослая. К сожалению. «Смелость» и возраст у женщины — едва ли не синонимы,— и она перестала улыбаться, и поезд влетел в шеренгу мелких сельских фонарей, бросавшихся скачками по ее щеке, затем по потолку и по его руке. — Скажите что-нибудь... Спросите!..

— Вас как зовут?

— Ирина... А еще? ... Еще спросите!!

— Я поцелую вашу руку?

— Да.

И он поцеловал. Она не отстранила. Затем явился проводник, а с ним и чай.

— Я очень люблю подстаканники,— сказал он вслед удалившемуся проводнику, и, переадресовав, добавил: — Нравятся...

— Понятное дело: предметная вещь, да еще и по долгу службы,— смеялась она. — А вы — фетишист!

— Да.

— И как же Фетишиста зовут?

Но он не отвечал, и она не отстранялась. И фонари появлялись городские и сельские, и ближе к утру посредством сна ничего не изобреталось.

* * *

В четверг в дневное время было солнечно, но ветренно и с признаками близкой перемены цвета в облаках: от белого лохматого — к свинцу.

— Отчего на свете иногда бывает муторно и пошло?

— От сложности... — ответил Фетишист.

— О нет! От злого люда!! — отрезала она и глянула налево.

А слева разместились серые некрупные камни, погибший высохший голубь и вертикальные четыре тени от колонн полупрозрачного павильона, вполне способного разочаровывать и даже раздражать тупым контрастом свежей краски поверх реликтовой архитектурной чистоты.

— Ты сердисься оттого, что беременна.

— А я беременна?

— Разумеется.

— И я сержусь?

— Конечно.

— Извини.

— За что? Ты ведь не любишь меня...

— Да, не люблю,— ответила она и снова глянула налево.

* * *

Зал железнодорожного ожидания давил по ушам всеобщим круглым голосом толпы, а заодно — шипел в ногтях перемещением подошв и дерматиновых вещей о кафельное поле.

— Голова трещит, никакого терпенья! — Ирина поняла бессмысленность ладоней у висков, а носовым платком у рта решила заглушить проснувшееся раздражение и тошноту. — Ну сделай же что-нибудь!

— Может быть, анальгин? — волновался он.

— Нет, массировать нужно...

— Где?

— Вот здесь! — она освободила шею от волос.

Робкими пальцами он побежал от ворота к затылку и обратно:

— Так?

— Да. Только сильнее!

— Так?

— Сильней!

Колонна из солдат с мешками за спиной за неимением четкого фарватера пыталась пересечь вокзальное пространство этойкой змеиной вертлявою тропой, а розовый сержант, активно контролируя равнение в колонне, с меньшей же активностью ступил всесильным каблуком Ирине на ногу. Ирина от боли вскинула колено, а занятой сержант в порыве отваги этого не заметил.

— Эй!.. Военная мощь!! — возмутилась она, однако теперь уже «рядовой» (и шестой по счету) сапог вонзился ей в другую ногу.

Рефлексом вскинулось и левое колено, затем Ирина наугад толкнула кулаками в бок восьмого долговязого солдата. Тот было рухнул в противоположную скамью, но тут же с оловянной быстротою взлетел в свое положенное место, не удосужив даже поворотом головы источник нападения.. Из дальней глубины, однако, заорал сержант:

— Запоров!

— Я!

— Наряд вне очереди!

— Есть наряд вне очереди!

Тогда обеими ногами Ирина вскочила на скамью, дабы узреть активного сержанта, а Фетишист с каким-то редким шепотом схватился в пальцы ей и попытался удержать...

— С Н А Р Я Д вне очереди!!! — взбесилась она.

— Ириша, успокойся! Ну их!..

Колонна как-то сразу улетучилась, и обнаружилось всеобщее колючее внимание. Пришлось обоим оглянуться...

— Господи... — Ирина по нелепости папоминала постановку. — Стыд-то какой!.. Это все от злого люда! Пойдем отсюда!..

— Да, да... — сглотнул распарившийся от конфуза Фетишист и, через паузу, спросил: — Как голова?

— Что? — и она, опустившись со скамьи, надолго к нему присмотрелась, а глаз — осветился зеленым: — Присядем-ка!

И они присели.

— Ты не закончил процедуру!

— Но... люди смотрят.

— А у меня голова трещит!!

— Хорошо, хорошо... — и рукою он подался к волосам.

— Нет! Теперь колено, вот здесь!.. Ну!

Правая щека у него обильно вспыхнула тихой растерянностью, однако же он пересилил отсутствие дыхания и глупо воткнулся пальцами в колено.

— Сильнее! — дрогнула она, и неожиданная влажность проступила между век.

— Ириша, что с тобой??

— Ты слабый...

— Да я просто боюсь сделать тебе больно!..

— Я не об этом, — и влажность между век оформилась в бегущую слезу. — Я подчиняться хочу!! Только тогда женщина любит! Понимаешь?! ... Отдай билет!.. И не ходи за мной!..

* * *

В вечерний тамбур обратного поезда Ирина вошла, впервые позабыв о прическе и пуговицах на белой блузе.

Одиноким юноша рассыпал светлым дымом закоптелое окно и узким взором оценил Ирину снизу вверх.

— Угостите сигаретой, — попросила она.

— Вы же не курите!

— С чего это вы так решили?! — Ирина словно бы очнулась, мгновенным жестом поправила блузу.

— Сами сказали — некурящая.

— Когда?

— Три минуты назад, я у вас спички хотел...

— О-о-о! Значит — пора мне ложиться! Спокойной ночи, извините...

— Зачем же так сра...

Но дверь уже захлопнулась изнутри вагона, и юноша сбросил дежурную улыбку.

Рожать она не захотела, а частному лекарю сказала:

— Я хочу прежде любить, а уж тогда только — рожать...

— Коротко и ясно! — ответил лекарь. — Люблю конкретного пациента! Вам сколько лет?..

В семнадцать часов обрушился ливень, стены домов крепнулись друг к другу, стараясь спасти от холодной стихии куски тротуаров и редких прохожих. Вертикальная вода, хоть и была обильной, но мягкостью своей, благодаря исчезнувшему накануне ветру, не вызывала шумных плесков между улиц и дворов, а также — шумной человеческой суеты. Царила тишина...

Ирина появилась в переулке сразу в тот момент, когда прохожие запропастились по домам, когда вода сырою пеной не ждала автомобилей, когда, казалось, время перестало на минуту развиваться, а стекла в окнах — половинились: одни в зеркальные, другие в дым.

Асфальт в переулке тоже поседел и затаился, словно даже успокоился как-то, позабыл извечную дневную догму двуногих подошв, и лишь Ирину принял как свое, родное, недоушевленное.

Ирина разместилась в середине проезжей части переулка, разместилась буквально, сосредоточенно и спокойно, а именно — сбросила с плеч (на этот раз не захрустевший) синий и колючий плащ, присела на него ладонями, коленями, ногами сапог, отвела плечом от пустоты и влаги вспыленный локон, и глянула вперед:

— Здесь все мое! Мне принадлежит! — и, обернувшись головой назад, в обозримый тупик переулка, добавила: — Доказательств нету!.. Гляньте! Милые! Я это! Я!..

Развернувшись боком на плаще и подтянув колени, она, казалось, всем своим видом изобразила, будто собралась от счастья задремать...

Обнажились черные чулки, белые руки до половины предплечий, вскинута верхняя губа и серая вода по голенищу... Из-под виска текла струя, вставшая в ручей, загнулся край плаща у рукава на левой стороне, глаза сомкнулись в сокровенную минутную мечту, а по щеке скользнул конвульсией холодный маленький озноб.

Ирина резко поднялась, преодолела натяженье жидкости в плаще и подняла его на уровень груди, стараясь выждать вялую сползающую муть.

— Посквернословили — и хватит! — «успокоилась» она. — Пора и честь знать...

С этими словами она отправилась в обратном тупику, размытом направлении, накинула поверх затылка жеваную синюю одежду, и уж тогда из-за угла открылся первый велосипедист в прозрачном целлофане, за ним — второй (владелец легкого автомобиля), старухи появились из засаленных дверей, и на издохе крякнули расслабленная молния и гром...

* * *

Вернувшись домой, она молча думала четверть часа, затем думала еще час или два, и, решив зачеркнуть историю с мужчиной, сочинила к нему мгновенное последнее письмо: «Прощай, не сердись. Ирина. Понедельник, октябрь».

* * *

А в январе наступил очередной год, и она испугалась. Затем привыкла. Февраль, май... Занялась переводами дальних поэтов, а в мутные дни — технических текстов: хотелось (кроме любви) еще и покупать продукты. Оптику переносила вполне хладнокровно, электронные цепи — с раздражением, и люто возненавидела «постоянную намагничивая»: как можно-де намагничиваться постоянно, да и зачем?! Но копейки тихонько шли, потому приходилось периодически намагничиваться.

Купила пальто — длинное и черное, с серым поясом. Пояс решила пока не носить, а вечером прочла в газете о гибели школьников, расковырявших снаряд. Сразу поверила нелюбимой газете, но более читать не стала, а только открыла настежь окно, вернулась к столу и долго искала, искала, искала... Нашла свидетельство о рождении и изумилась реальности подобного документа применительно к себе. Потом — плакала и спала до четырех утра.

Проснулась от дыма, треска стекла, тугого дыханья и пожара в квартире. Сгорели бумаги (почти все), сгорели шторы, аккордеон, лопнул сервант, а за ним — дверь, сгорели пальто и участок кожи над правой ягодицей. От страха успела прыгнуть в окно, ушибла бровь и обе пятки, но кости кругом остались целы, а «Скорую» — вызывала сама: нагая, быстрая и одинокая. Пальцы от трубки отдирали пожарный, врачу же сказала: «Хочу любить!..» И долго просила себя целовать. Врач не спорил и целовал.

* * *

Причину пожара установить не удалось, зато удалось пересадить кожу. К июню Ирина слегка похудела, нашла под губою намек на морщину, сверх меры просилась гулять в сад

и решила даже, что жить — это нормально, обыкновенно и закономерно.

Лечащий врач ее полюбил, носил ей сливы и стихи. Она же не замечала его чувства, поскольку невольно отождествляла миссию белого халата с самим человеком, и лишь иногда спрашивала:

— Откуда сливы в июне? Забавно как!..

— Зайцы, зайцы носят! Они у нас — словно курьеры...

— О, зайцы! — шумела она. — Как вы мне нравитесь, доктор!

* * *

Лечащий врач провожал ее к трамвайной остановке, и странным было выражение его лица, когда он напоследок говорил:

— Как бы это сказать?.. Ну, в общем, не болейте больше... Ладно?

— Ни за что! — улыбнулась она и в знак благодарности целовала ему руку.

Трамвай тронулся с места и скрылся в домах, а врач, похоже, на секунду постарел.

* * *

Ирина попыталась продать жилплощадь, затем решила проделать ремонт, на трубе водосточной приклеила лист — «Займу пятьсот рублей под проценты».

Остриглась коротко — чтоб дышать, купила «Шампанского» — чтобы ждать, и стала ждать. Это — июль. А в августе (первого) — день рождения...

Первого августа она осилила «Шампанское» самостоятельно, успела сбросить тапочки и рухнула в постель, а поутру, забыв умыться и пропеть какое-нибудь слово для приветствия рассвета, решила провести эксперимент со всею окружающей действительностью...

* * *

Осторожно потянув на себя дубовую двустворчатую дверь и дунув в ладонь, сбивая кусочную пыль, она поднялась за пятый лестничный пролет и обмерла, законспирировав одышку от волнения во рту. Дернула рыжую нить, и колокольчик где-то брякнул таким двойным разом.

Мягкая лента в волосах почти влетала синим тоном к цветку платья, отсутствие чулок под тусклой лампой вряд ли замечалось, цветной зрачок в глазу мгновеньями сменялся бе-

лым тонким светом, ну а ладони на руках провисли камнем без движения и жизни.

— Господи, благослови!.. — шепнула она.

Тогда и отворилась дверь, и появился медленный, небритый в меру, господин:

— А-а; это вы! Признаться, не ждал...

— Но я пришла.

— Что ж, проходите!

— Нет, я хочу здесь! — и пальцы у нее ожили, коснулись — правые левых, и тихо поправили синие складки у плеч.

А дверь бесшумно и самостоятельно захлопнулась и только после этого надрывно и сухо зарычала.

— Извольте, — ровным приятным тоном парировал господин, сделав к Ирине медленный шаг; мертвенно как-то поцеловал ей лоб, а затем столь же медленным движением сильных и светлых пальцев надорвал в двух местах любимое платье: от шеи — и вниз до пояса.

Ткань обвалилась кривым квадратом почти до колен, и обнажилась грудь, укрытая белым кружевом.

— Это тоже снимать? — спросил господин в тяжелом высоком свитере, не решаясь стронуть руку от женского сердца.

— Нет, — произнесла Ирина мраморное слово.

— Но я иначе не смогу... — виновато возразил господин.

— А ноги?! — и она перевела взляд к потолку. — Нагибайтесь и целуйте!

Господин на это покорно опустил на колени, застрял на секунду в какой-то вычислительной паузе и, не поднимая головы, громко спросил:

— Вам не холодно?

— Не знаю... — торопилась Ирина. — Это не важно теперь!

Господин низко поцеловал одну ногу, следом — другую, коснулся коленей губами, затем — щекой...

— Теперь обнимите меня. Нет-нет, не нужно вставать!..

Господин, не вставая, обнял, а ладони она водрузила поверх его затрепавшихся волос. Лишь тогда он вскинул лицо, принялся поедать озябшие пальцы, в угоду ему незаметно вращающиеся...

— Да! — абстрактному адресу обратилась она. — Теперь я согрелась. Пойдите в комнату... Скорее!

— Зачем же сразу было не войти? — и господин поднялся. — Вы любите со мною извращения...

— Неправда! Я с вами люблю забыть время... Бытовое, земное, что окружает нас с вами ежедневно, исключая сновиденья...

— Но зачем?

— Затем, что оно — правильное, и в нем — плохо!

— Что же в правильном плохого?

— Вот вы — незрячий, и это «правильно»! А для меня, в моем неправильном, вы — самый зрячий изо всех зрячих... Пойдемте скорее!

И грянули сумерки... август тянулся... и моль разъедала над койкой ковер. Незрячий курил, глотал минеральную, затем целовал, курил, глотал... И после — уснул; а рассвет — успел уж к окну прислониться. Точно розовый дьявол...

Она разбудила его, тронула руку в каждый палец, свернула пальцы в вялый кулак, упрятав его под себя — согреть.

— Ирина, ведь нельзя полюбить слепого, верно?

— Я уж давно этого слова не понимаю... Полюбить! Вы — родной. Это больше, дороже и крепче...

— Вы сейчас хотите уйти?

— Да.

— И придете еще?

— Да.

— Я буду ждать вас хоть сколько угодно недель и месяцев!

Ирина оделась и вышла в прихожую, смутилась от факта рваного платья; примерила куртку с широким замком, осталась с усмешкой собою довольная, пыталась о куртке предупредить, однако обернуться передумала и щелкнула дверь.

По голосу сердца выходило так, что непременно требовалось не останавливаться и ПРОДОЛЖАТЬ, чтоб ненароком вдруг не захотелось думать, рыдать и разговаривать с собою самой. Потому Ирина шла весьма торопливой походкой, не зная куда и зная зачем. Шла ПРОДОЛЖАТЬ и вышла к городской периферийной границе. А там — река с качающимся облаком, у берега — яхта с дымом в трубе: окрашена в желтое с черной линией — вдоль правого борта, а также левого.

Взошла по трапу, спустилась в трюм. От резкой теменигнулись глазницы, от жирного запаха пива пришлось кашлянуть и вобрать воздух.

— Зажгите свет! — крикнула она.

Свет, однако, не зажигали, ответа также не последовало никакого, а лишь высоким звуком шелестнуло за спиной у Ирины и по локтям схватились намертво чужие руки:

— Кто такая?!

По неясной причине Ирина не испугалась, вспомнила детство и «сказки» про тварей, привыкшим зрением ошупала ящик, за ним — скамейку, за нею — труп. От шеи к ящику чернела струя, и ей — подумалось вопреки обстановке: «Как умудрилась я запах пива путать с запахом...»

— Кто такая?!!

В каюте вокруг нее расположились четверо, свет был зажжен, а локти — гудели. Альбинос верховодил, остальные молчали.

— Зачем пожаловала?

Ирина задумалась.

— Быстрее! Считаю до трех!!

— Деньги нужны! — ввернула она, позабыв о любви, о пожаре и сливах.

— Почему решила, что здесь они имеются?

— Нюхом чую, — шипела она недоступной улыбкой, а команда тогда решила переглянуться.

— Чем докажешь?.. Быстрее!!

Ирина рванула замок книзу, и ткань от платья послушно скатилась. Секунду спустя альбинос вскинулся, всадил ладоню соседу в плечо, взлохматил себе от восторга затылок и — заорал обращаясь к зеркалу:

— Верю! Режь меня палкой — верю!!... Змея! По глазам вижу — не врет! — и он прикоснулся к открытой груди, подмял наверх нижние веки, треть минуты сверял дыханье с каким-то утробным собственным чувством, после чего — отнял руку и, вдруг изменившимся до внятного голосом, отрезал:

— Наша будешь! Застегнись!

* * *

Такой вот приснился Ирине сон, и она возмутилась, его устыдившись. Август действительно лишь начинался, день «номер два» обещал календарь. Полный сосуд от «Шампанского», яблоки, денег остатки, комар на стене... Верно — ей тридцать... плюс четверть суток!

«Но что же подобный сон означает?! Ведь это — знак!» — испугалась она. Ее беспокоили поползновенья — свои и других, привиденных ею.

«Неужто вдруг чрезмерное пристрастие оплетает и меня?.. Я заболеваю, сыплюсь в мелкость и холод, путаю мед с плесневелой водой! Надо подняться, нужно умыться, нужно мне звуков каких-нибудь! Много!!»

Ее успокоили мелкий ветер и запах камня из створок окна: на улице синим асфальтом блестело, висели тучи, тени зданий, и медленно двигался вправо старик.

— А я отмечала вчера юбилей! — огласила она бульвар.

Казалось, что дернулась ветка у липы, стены вернули ей собственный голос, руками Ирина «удвоила» уши... однако, ее в это голое утро — не слышали.

Продолжение следует

Михаил Крепс

ПЧЕЛА

Из тесной трубочки цветка
С добычей пятится пчела
С улыбкою у хоботка,
С мохнатой думой у чела.

Не сосчитать пчелиных лет,
Да и какое дело нам,
Не отличившим пустоцвет
От чаши маленьким богам.

Мы, чудом не удивлены,
Природу пробуем на вкус,
Сосуды топчем без вина
И убиваем за укус.

А ты летишь легка, легка,
Сестра цветка и ветерка,
Опустошенная душа,
В крылатом воздухе шурша.

SILENTIUM

Ложью мысли в непогоду
Изреченной удручен,
Я бутылку бросил в воду,
Не желая быть прочтен.

Пусть слова живут отныне
Во стеклянном во дому,
Не услышанные и не
Сказанные никому.

Обольщенья, обещанья,
Вам ли годы воскресить?

По ту сторону прощанья
Нам прощенья не просить.

По ту сторону молчанья
Не услышать вам прибой.
Что ж, счастливого качанья
По пучине мировой!

НОЧЬ

Что нам и петь; как не эту ночь?
«Время прочь и пространство прочь.»
То, что подскажет Урана дочь,
Глаз отразит точь-в-точь.

Проводом пробежит скворец,
Облаком пролетит Творец,
В синь панорамы вобьет торец
Царствующий дворец.

Пусть не сойдемся на этот мол,
Как предсказал нам поэт-шегол,
Все же сулит золотой прикол
Шпиль, хоть в правах — прокол.

Воздух светлей, чем экран в кино,
Ветки тасуют звезд домино,
Ветер качает осин руно,
Треплет углы панно.

Здесь нас пространство поймало в сеть,
Здесь научились любить, гореть.
Греть, не разменивать время петь
На автоматов медь.

Вновь желтоглаза не спит Нева,
Волны черны и луна нова,
Башня воде говорит «са ва»,
Светятся острова.

Мраморных статуй глаза пусты,
Спрятали белки хвосты в кусты,
Пары расходятся и мосты,
Как на ветру листы.

Песня имеет форму дуги,
Речи родной паруса туги,

Звук нас вернет на свои круги,
Но не подать руки.

Значит, не время нам вместе быть.
Таает в глазах горизонта нить.
Тем, кому выпало петь и плыть,
Стыдно судьбу винить.

ГЛЯДЯЩИЕ ГОРОДА

Хорошо бы жить одновременно в двух городах,
Говорить на родном и на другом языке,
И в воде разных лет свое отражение узнавать,
Одинаково верное и неверное себе.

Научиться бы путать улицы и тупики,
Имена знаменитых всадников на вечнозеленых конях,
И листать страницы, где вечноюные старики,
Говорят (почему-то в рифму) о невеселых твоих делах.

Хорошо бы одновременно вдыхать
Воздух родины и другой стороны
Одинаково сладкий и понимать,
Что любая свобода есть акт вины
Перед ближним.

Хорошо бы одновременно входить
В реку времени, где «лежу» и «бегу»
Неразлучны, как города, глядящие из воды
На свои отражения на берегу.

МЕДУЗА

Жизни фонарик, светящийся в черной воде,
Что ты расскажешь и чем о случайной судьбе
Перед нестрогим Творцом на нестрашном суде?

Весь — воплощенье заветных французских свобод,
Зонтик и колокол, облако и небосвод,
Есть ли в твоём лексиконе «назад» и «вперед»?

Бьется ль греховная мысль в лиловатом стекле
К звездам прижаться, оставить свой след на скале,
Баб-эль-Мандеб переплыть иль хоть Па-де-Кале?

Музыка моря, неслышная миру пока,
Бьется ли в маленький колокол без языка,
Жаждет ли выразить свет, синеву, облака?

Звучность и вечность мечтами равняя в правах,
В сердце с надеждой на речь, со звездой в головах,
Часто ли мыслью томишься — я порох иль прах?

Хрупкий, живой, безупречный стеклянный цветок,
Если ты поискам голоса чужд и дорог,
Богу зачем ты? Вернее, зачем тебе Бог?

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я вернусь туда, где жевал пельмень,
Где над чаем плыл голубой пэл-мэл,
И кошачью лесенку на твоём этаже
Превращу я в песенку, е. б. ж.

И раздастся снова и чмок, и чок,
И найдет свою Золушку башмачок,
А потом новоявленный граф Толстой
На проклятый вопрос даст ответ простой.

Пусть крылатые мурки на сумеречном мосту
Стерегут словно урки уличную пустоту,
И опять рыбьим жиром горит канал,
Куда Пушкин и прочие окунал.

Я с луной возле клумбы глотну лишка
Перед домом, где глобус а la башка,
И Барклай без фуражки махнет рукой
И не будет спрашивать, кто такой.

ОВАЛ

Время проходит сквозь нас, оставляя нас позади,—
Не зацепиться когтем, ни ласточкиным крылом
За прозрачного спутника, а кричать «погоди»
Все равно, что овал рисовал на воде углем.

Но рисуем, в то время как тишина, обнажив шаги,
Забирается в слух и камушком, холодна,
Чертит в светлом воздухе расходящиеся круги
От минуты, канувшей, но не достигает дна.

Отразит ли полет круговая река времен?
Проходящий весом, но поступь его легка,
Как узор кружевной, слетающий с языка имен,
По колено стоящего в вечности мыслящего тростника.

В мире всякий объект — часы, но неровен ход,
Только в выборе точки отсчета мы и вольны.
Проходя через нас, удаляется пешеход,
Но овал возвращается на колесе волны.

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей Арьев. Возвращение лишнего сына	3
Сергей Довлатов. Лишний. Повесть	5
Иосиф Бродский. Путешествие в Стамбул	33
Л. Н. Гумилев. Посещение Асмодея. Мистическая пьеса	67
Андрей Битов. Битва (из цикла)	87
Виктор Соснора. Море отодвигается	93
Владимир Микушевич. Курево. Райский коридор. Адамов ад	99
Александр Кушнер. Стихотворения	104
Владимир Уфлянд. Один из витков истории питерской культуры	108
Евгений Рейн. Муравьево. Поэма	116
Валерий Попов. Сон, похожий на жизнь	122
Николай Якимчук. Из жизни бичей	131
Арсений Тарковский. О стихах Вениамина Блаженного	133
Вениамин Блаженный. Стихотворения	135
Виктор Топоров. Стихотворения	149
Яков Гордин. Певцы искаженного мира	156
Виктор Липатов. «...На жизнь, на торг, на рынок»	168
Саша Соколов. Палисандрия. Отрывок из романа	178
Александр Хорт. (А. Битов, Д. Гранин, В. Конецкий)	182
Сергей Панов, Николай Шептулин. Троянский конь. Пьеса в стихах	186
Александр Малюгин. Жертва, или Как Парамонов убил петуха	193
Александр Сокуров. О прозе Андрея Черных	199
Андрей Черных. Австрийское поле	200
Михаил Крепс. Пчела. Стихотворения	211

Художник К. Немченко

Редакторы А. Шор, И. Корб

Технический редактор Э. Крахмальник

Сдано в набор 7.12.90. Подписано в печать 17.01.91. Формат 60×90^{1/16}.
Бумага типогр. Литературная гарнитура. Печать высокая. Усл. печ. л. 12.
Тираж 10 000 экз. Заказ 1871. Цена 5 руб.

ПО-3 Ленуприздата. 191104, Ленинград, Литейный пр., 55.